

The background is a dark, atmospheric painting. It depicts a room with walls covered in intricate, yellowish-green cobwebs. In the center, a large, dark, teardrop-shaped object hangs from the ceiling, possibly a piece of dried meat or a similar object. The lighting is dim and focused on the central object, creating a sense of mystery and horror.

1984

ДЖОРДЖ
ОРУЭЛЛ



Джордж Оруэлл

1984

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Оруэлл Д.

1984 / Д. Оруэлл — «Мультимедийное издательство
Стрельбицкого»,

ISBN 978-0-88-000280-6

Первые полвека после публикации антиутопия Оруэлла «1984» воспринималась как злая сатира на коммунистические режимы. Но, увы, пророческие детали мира «1984» всё больше и больше становятся реальностью современного декоммунизированного мира. Фантастические реалии, придуманные Джорджем Оруэллом для Британии 1984 года, давно вошли в культурный код современного человека, зависимого от глобальных корпораций, социальных сетей и медиа: «Старший Брат смотрит на тебя», «мыслепреступление», «новояз», «свобода – это рабство». Например, житель современного крупного города лишен приватности, несколько раз за день попадая в поле зрения камер видеонаблюдения: так, в Лондоне их более 600 тысяч, по одной на 14 жителей; в среднем за день каждого лондонца фиксируют около 300 раз. Роман «1984» наряду с такими произведениями, как «Мы» Евгения Замятина (1920), «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли (1932) и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери (1953), считается культовым образцом антиутопии.

ISBN 978-0-88-000280-6

© Оруэлл Д.
© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

Часть первая	5
Глава 1	5
Глава 2	15
Глава 3	20
Глава 4	24
Глава 5	30
Глава 6	38
Глава 7	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Джордж Оруэлл

1984

Часть первая

Глава 1

Был ясный холодный апрельский день, часы показывали ровно тринадцать ноль-ноль. Уинстон Смит, зарывшись в свой воротник так, что подбородок почти касался его груди, в надежде поскорее спастись от мерзкого колючего ветра быстро проскользнул через стеклянные двери многоэтажного жилого дома «Победа», хоть и недостаточно быстро, потому что вихрь зернистой пыли протиснулся в помещение вместе с ним.

В парадном пахло вареной капустой и старыми половиками. На стене висел цветной плакат, слишком большой для такого помещения. С плаката смотрело громадное, шириной более метра, лицо человека лет сорока пяти, с густыми черными усами, грубое, но по-своему красивое. Уинстон сразу направился к лестнице. Пробовать вызвать лифт было бесполезно. Даже в лучшие времена он редко работал, а сейчас электричество стали вообще отключать в дневное время. Это было частью кампании по экономии средств для подготовки к Неделе ненависти. До квартиры предстояло преодолеть целых семь пролетов. Уинстону было тридцать девять лет и его мучила варикозная язва над правой лодыжкой, поэтому он шел медленно, несколько раз отдыхая по дороге. На каждом этаже напротив шахты лифта со стены на него смотрел плакат с огромным лицом. Это была одна из тех иллюстраций, которые сделаны так, что кажется, что глаза следят за тобой, в какую бы сторону ты ни пошел. Большими буквами на плакате было написано: «БОЛЬШОЙ БРАТ НАБЛЮДАЕТ ЗА ТОБОЙ».

В квартире бархатный голос зачитывал сводку с какими-то цифрами, имевшими отношение к производству чугуна. Голос исходил из продолговатой металлической пластины, похожей на тусклое зеркало, которая была встроена в стену с правой стороны. Уинстон повернул переключатель, и голос стал тише, хотя слова все еще были слышны довольно четко. Этот аппарат (он назывался телеэкран) можно было затемнить, но полностью выключать запрещено. Уинстон подошел к окну: невысокий худощавый человек, чье нескладное телосложение еще больше подчеркивал синий комбинезон – обязательная униформа всех партийцев. Волосы у него были совсем светлые, а румяное от природы лицо шелушилось из-за жесткого мыла, тупых бритв и холода только что закончившейся суровой зимы.

Даже через закрытое окно он чувствовал холод, которым был окутан мир снаружи. На улице небольшие порывы ветра кружили вихрями пыль и рваную бумагу, и хотя светило солнце, а небо было ярко-голубым, бесцветным казалось все, кроме развешанных повсюду плакатов. Лицо с черными усами покровительственно наблюдало со всех сторон. Один из плакатов висел прямо напротив его дома. «БОЛЬШОЙ БРАТ НАБЛЮДАЕТ ЗА ТОБОЙ», – гласила надпись на нем, а темные глаза смотрели прямо в глаза Уинстона. Внизу возле тротуара висел другой плакат, правда, один из его уголков отклеился, и он судорожно трепыхался на ветру, попеременно то пряча, то показывая единственное слово «АНГСОЦ». Вдалеке между крышами пролетел вертолет, на мгновение он завис, словно трупная муха, а затем снова улетел прочь. Это был полицейский патруль, который заглядывал людям в окна. Однако, патрули не имели значения. Бояться нужно было только Полицию Мыслей.

За спиной Уинстона голос из телеэкрана все еще болтал о чугуне и перевыполнении девятого трехлетнего плана. Телеэкран работал одновременно и на прием, и на передачу сигнала.

Он улавливал каждое слово громче шепота, более того, пока Уинстон оставался в поле зрения металлической пластины, его можно было не только слышать, но и видеть. Конечно, не было никакого способа узнать, наблюдают ли за тобой в данный момент. Как часто и по какому принципу Полиция Мыслей подключалась к какому-либо отдельному телеэкрану, оставалось лишь догадываться. Возможно, они вообще круглосуточно следят за всеми. Но во всяком случае точно можно было сказать одно – они могут подключиться к вашей линии, когда захотят. Приходилось жить с осознанием, которое стало не просто привычным, а скорее даже инстинктивным, что каждый издаваемый тобой звук слышат, а каждое твое движение внимательно отслеживается, если только ты не находишься в полной темноте.

Уинстон старался всегда держаться к телеэкрану спиной. Так было безопаснее, хотя он прекрасно понимал, что даже спина может его выдать. В километре от его дома находилось Министерство Правды, где он, собственно, и работал. Это было громадное белое здание, которое возвышалось над угрюмым городским пейзажем. «И это, – подумал он с неким отвращением, – это Лондон, главный город Взлетной полосы № 1, которая является третьей по численности населения провинцией Океании». Он попытался выжать из своей памяти детские воспоминания, которые должны были подсказать ему, всегда ли Лондон был таким. Всегда ли здесь были эти гниющие обшарпанные дома девятнадцатого века, стены которых были подперты деревянными балками, окна закрыты листами картона, крыши залатаны ржавым гофрированным железом, а заборы кренились во всех направлениях? А что насчет разбомбленных пустырей, где в воздухе кружилась белая пыль, а груды щебня и битого кирпича поросли иванчаем; пустырей, где образовались целые колонии убогих деревянных трущоб? Но он не мог ничего вспомнить, сколько ни пытался: от его детства не осталось ничего, кроме калейдоскопа несвязных сцен, возникающих без фона и контекста, поэтому по большей части абсолютно ему непонятных.

Здание Министерства Правды, или Минправды на новоязе (новояз был официальным языком Океании) разительно отличалось от любого другого объекта в округе. Это было огромное пирамидальное строение из отполированного белого бетона, возвышающееся, терраса за террасой, на высоту трехсот метров. С того места, где стоял Уинстон, можно было прочесть выгравированные на гладком фасаде три основных лозунга Партии:

ВОЙНА – ЭТО МИР

СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

Говорили, что в Министерстве правды три тысячи комнат над землей и столько же под землей. В разных районах Лондона разместились еще три здания аналогичного вида и размера. Они настолько выделялись из окружающей архитектуры, что с крыши жилого дома «Победа» можно было четко увидеть сразу все четыре. Это были здания четырех министерств, которые и составляли весь правительственный аппарат Океании. Министерство правды заведовало новостями, развлечениями, образованием и изобразительным искусством. Министерство мира занималось войной. Министерство любви поддерживало закон и порядок. А Министерство изобилия отвечало за экономику. Их названия на новоязе звучали так: Минправда, Минмир, Минлюб и Минизоб.

Министерство любви особо пугало своим видом. В нем совсем не было окон. Уинстон никогда не был в Министерстве любви, даже не подходил к нему ближе, чем на полкилометра. Это было место, куда нельзя было войти, кроме как по служебным делам, и то только через лабиринт заграждений из колючей проволоки, стальных дверей и скрытых пулеметных гнезд. По улицам, ведущим к его внешним ограждениям, бродили верзилы-охранники в черной форме, вооруженные складными дубинками.

Уинстон резко обернулся. Он мгновенно придал своему лицу выражение тихого оптимизма, ведь именно такое лицо было целесообразно делать, глядя на телеэкран. Он прошел через комнату в крошечную кухню. Уйдя из Министерства в это время суток, он пожертвовал своим обедом в столовой, при этом он прекрасно знал, что на кухне у него не было ничего, кроме куска темного хлеба, который нужно было приберечь для завтрака. Он взял с полки бутылку с бесцветной жидкостью, на которой была наклеена незамысловатая белая этикетка с надписью «Джин Победа». В ноздри ударил резкий маслянистый запах, как от китайской рисовой водки. Уинстон налил почти полную чашку, собрался с силами и проглотил напиток, словно лекарство.

Мгновенно его лицо покраснело, а из глаз потекли слезы. Жидкость эта была похожа на азотную кислоту, и уже после первого глотка возникало ощущение, что тебя бьют по затылку резиновой дубинкой. Но жжение почти сразу утихло, и мир стал выглядеть куда лучше. Он вынул из кармана скомканную пачку с надписью «Сигареты Победа», достал сигарету, но по неосторожности взял ее вертикально, отчего весь табак из нее высыпался на пол. Со следующей он справился получше. Он вернулся в гостиную и сел за маленький столик слева от телеэкрана. Из ящика стола он достал перьевую ручку, бутылочку с чернилами и толстую записную книжку с красным корешком и обложкой с мраморным узором.

Телеэкран в его гостиной висел почему-то не так, как у всех. Вместо того, чтобы размещаться, как обычно, в торцевой стене, чтобы охватывать всю комнату, он был встроен в более длинную стену напротив окна. Сбоку от него была неглубокая ниша, в которой и сидел сейчас Уинстон. Когда строился этот дом, она, вероятно, предназначалась для книжного стеллажа. Вжимаясь в эту нишу, Уинстон мог оставаться вне зоны видимости телеэкрана. Его, конечно, было слышно, но пока он оставался в своем нынешнем положении, видно его не было, и это главное. Такая необычная планировка комнаты отчасти и сподвигла его на то, что он собирался сейчас сделать.

Но также на это его вдохновил блокнот, который он только что достал из ящика. Это был необычайно красивый блокнот. Немного пожелтевшие от возраста страницы были сделаны из плотной гладкой бумаги, которую не производили уже по крайней мере лет сорок. Но Уинстон предполагал, что записная книга была намного старше. Он увидел ее в витрине унылой маленькой лавки барахольщика в бедном квартале (в каком именно, он уже и не помнил), и тотчас же им овладело непреодолимое желание завладеть этой вещью. Вообще, члены Партии не должны были ходить за покупками в обычные магазины (так называемые «точки свободной торговли»), но это правило не соблюдалось слишком строго, потому что в таких магазинах были разные товары – такие как шнурки и бритвенные лезвия, которые нельзя было больше нигде достать. Уинстон бегло оглядел улицу, а затем проскользнул внутрь и купил этот блокнот за два доллара пятьдесят центов. В тот момент он даже не понимал, зачем именно он ему нужен. С неким чувством вины он отнес его домой в своем портфеле. Даже если в нем ничего не было написано, владение такой вещью уже было компрометирующим.

Сейчас он собирался открыть этот блокнот. Это не было противозаконным (ничто не было противозаконным, поскольку законов как таковых больше просто не было), но, если бы его кто-то застукал за этим занятием, наказанием конечно же была бы смерть или, как минимум, двадцать пять лет в исправительно-трудовом лагере. Уинстон скovyрнул с кончика перьевой ручки заводскую смазку. Перо было архаичным инструментом, который сейчас редко

использовался даже для подписей документов. Он и его купил тайком – не удержался, ему показалось, что красивая кремовая бумага заслуживала того, чтобы по ней писали настоящим пером, а не царапали острым химическим карандашом. На самом деле он не привык писать от руки. Помимо очень коротких заметок, он обычно надиктовывал все в виде речевого письма, что, конечно, было невозможно в данной ситуации. Он окунул перо в чернила и на мгновение замер. Внутри него все содрогнулось. Коснуться бумаги ручкой было решающим действием. Маленькими корявыми буквами он написал:

«4 апреля 1984 г.»...

И отклонился. На него обрушилось чувство полной беспомощности. Во-первых, он не был точно уверен, что сейчас 1984 год. Скорее всего, год был все же правильный, поскольку он был вполне уверен, что ему тридцать девять лет, и родился он предположительно в 1944 или 1945 году. В наши дни невозможно было точно определить дату, всегда была вероятность ошибиться на год-другой.

Да и вообще, для кого, собственно, он пишет этот дневник? Послание будущим поколениям? Его мысли на мгновение закрутились вокруг сомнительной даты на странице, а затем ему в голову пришло слово из новояза – «двоемыслие». В этот момент он впервые осознал масштабы того, что сейчас собирался сделать. Какое еще послание будущим поколениям? Это было невозможно по своей природе. Либо будущее будет подобно настоящему, и в этом случае его никто не будет слушать, либо оно будет отличаться от настоящего, и тогда его писанина будет бессмысленной и никому не нужной.

Некоторое время он сидел, тупо уставившись на кремовую бумагу. Его ступор прервала резкая военная музыка, зазвучавшая с телеэкрана. Даже удивительно, что сейчас он не просто потерял способность выражать свои мысли, но даже забыл, что он вообще изначально намеревался сказать. Несколько недель он готовился к этому моменту, и ему никогда не приходило в голову, что ему потребуется еще что-то, кроме смелости. Само написание казалось легким. Все, что ему нужно было сделать, это перенести на бумагу бесконечный беспокойный монолог, который крутился в его голове буквально годами. Но в этот момент весь его словарный запас иссяк. Более того, у него стала невыносимо зудеть варикозная язва. Он не осмеливался почесать ее, потому что в этом случае она всегда воспалялась. Секунды тикали, а мысли Уинстона были сосредоточены лишь на пустой странице перед ним, зуде кожи над щиколоткой, грохочущем из динамика военном марше и легком опьянении, вызванном джином.

И тут внезапно он начал что-то лихорадочно записывать, наверно, даже не до конца осознавая, что именно он писал. Его мелкий, немного детский почерк метался то вверх, то вниз по странице, сперва забывая только заглавные буквы, а затем и знаки препинания:

«4 апреля 1984 года. Вчера вечером ходил в кино. Показывают там только военные фильмы. Один был очень неплохой – о беженцах на борту корабля, который бомбили где-то в Средиземном море. Зрителей очень позабавили кадры, на которых толстяк пытается уплыть, но его преследует вертолет: сначала он барахтается в воде, как морская свинья, затем вертолет берет его на мушку, и вот он уже весь изрешечен пулями, а море вокруг него становится розовым от крови, и он быстро тонет, а вода проходит через дыры от пуль в его теле. Публика просто редела от восторга и дико хохотала, когда он тонул. Потом на экране появилась спасательная шлюпка с детьми, а над ней кружил вертолет. В шлюпке была женщина средних лет, возможно она была еврейкой, она сидела на носу лодки с маленьким мальчиком лет трех на руках. Этот мальчик кричал от испуга и прятал голову между ее грудей, словно пытался укрыться от опасности прямо в ней, а женщина обнимала и утешала его, и все время прикрывала его своим телом, хотя сама посинела от испуга. Возможно, она наивно полагала, что ее руки могут защитить его от пуль. затем вертолет скинул 20-килограммовую бомбу прямо на них, и лодка разлетелась в щепки. затем последовал замечательный кадр, показывающий, как детская рука взлетает прямо в воздух, должно быть, на вертолете была установлена камера,

чтобы следить за происходящим. с партийных мест раздался шквал аплодисментов, но женщина, которая сидела в части зала, предназначенной для пролетариата, вдруг начала поднимать шум и кричать что нельзя показывать такое при детях но они же это не прямо при детях а потом пришла полиция и выгнала ее из кинотеатра я не думаю что с ней что-то случилось ведь никому нет дела до того что говорят эти пролы типичная реакция пролов они никогда...»

Уинстон перестал писать, отчасти потому, что кисть схватили судороги. Он не знал, что заставило его излить на бумагу этот поток словесного мусора. Но любопытно было то, что, пока он делал это, в его голове вспыхнуло совершенно другое воспоминание, причем настолько ярко, что ему показалось, что он даже сможет его записать. Теперь он понял, что именно этот инцидент и заставил его поспешно улизнуть домой и начать дневник сегодня же.

Сам инцидент произошел этим утром в Министерстве, если конечно нечто столь туманное и необъяснимое можно назвать «инцидентом». Было около одиннадцати часов утра, и в Отделе Документации, где работал Уинстон, сотрудники как раз вытаскивали стулья из своих кабинок и расставляли их в центре зала напротив большого телеэкрана, готовясь к «Двухминутке ненависти». Уинстон как раз занимал свое место в одном из средних рядов, когда в комнату неожиданно вошли двое людей, которых он знал в лицо, но никогда с ними не разговаривал. Первой шла девушка, которую он часто встречал в коридорах Министерства. Он не знал ее имени, но знал, что она работает в Отделе Художественной литературы. Поскольку Уинстон иногда видел ее с испачканными маслом руками и с гаечным ключом, то предположил, что она выполняла какую-то техническую работу по обслуживанию машин для написания романов. Это была уверенная в себе девушка лет двадцати семи, с густыми короткими волосами, веснушчатым лицом и стройной подтянутой фигурой. Узкий алый кушак, символ Молодежной антисексуальной лиги, несколько раз обвивался вокруг линии талии поверх форменного комбинезона, подчеркивая стройность ее бедер. Уинстон невзлюбил ее с самой первой их встречи. И он знал почему. Она всем своим видом демонстрировала, если не сказать навязывала, атмосферу всех этих партийных сборищ: типа хоккейных соревнований, обливаний ледяной водой, массовых турпоходов, а также всеобщей благонадежности и стерильности мыслей. Он не любил почти всех женщин, особенно молодых и хорошеньких. Потому что именно женщины, и в первую очередь молодые, были самыми фанатичными приверженцами партийных идеалов, громче всех выкрикивали лозунги, шпионили за другими в надежде выявить и сдать инакомыслящих. Но именно эта девушка казалась ему более опасной, чем большинство других. Однажды, когда они проходили мимо друг друга в коридоре, она искоса бросила на него быстрый взгляд, который, казалось, прожег в нем дыру и на мгновение наполнил его черным ужасом. Ему даже пришла в голову мысль, что она могла быть агентом Полиции Мыслей, хотя это и очень маловероятно. Тем не менее, его охватывало чувство беспокойства, смешанное со страхом и враждебностью, всякий раз, когда она была где-то рядом.

Сразу за ней вошел ОБрайен, член Внутренней Партии, занимавший столь важный и высокий пост, что Уинстон имел лишь смутное представление о его обязанностях. На мгновение в зале воцарилась тишина, когда группа людей, собравшаяся вокруг стульев, увидела приближающийся к ним черный комбинезон члена партийной верхушки. ОБрайен был крупным, крепким мужчиной с толстой шеей и ухмыляющимся, но жестоким лицом. Притом, несмотря на свою грозную внешность, он все же обладал неким шармом. У него была привычка поправлять очки на носу, это было довольно забавно и имело какой-то удивительный обезоруживающий эффект, придавая его внешности какую-то интеллигентность и утонченность. Этот его жест делал его похожим на дворянина восемнадцатого века, предлагавшего вам свою табакерку (если, конечно, кто-то еще мыслит такими категориями). Уинстон видел ОБрайена около дюжины раз за почти столько же лет. Что-то в этом человеке притягивало Уинстона, и не только потому, что он был заинтригован контрастом между учтивыми манерами ОБрайена и его борцовским телосложением. В большей степени это было из-за тайного убеждения, возможно,

даже не столько веры, сколько надежды, что политическая ортодоксальность ОБрайена не была идеальной. Что-то в его лице неуклонно наталкивало на такие мысли. Хотя, опять же, возможно, его лицо выражало не партийную неблагонадежность, а просто высокий интеллект. Но, в любом случае, он выглядел как человек, с которым можно было бы поговорить по душам, если бы каким-то образом удалось обмануть телеэкран и остаться наедине. Уинстон никогда не предпринимал ни малейших усилий, чтобы проверить это свое предположение: да и на самом деле, не было никакого способа осуществить это. В этот момент ОБрайен взглянул на свои наручные часы, увидел, что уже почти одиннадцать ноль-ноль, и, очевидно, решил задержаться в Отделе Документации, пока не закончится Двухминутка ненависти. Он занял стул в одном ряду с Уинстоном, сев через пару мест от него. Между ними села невысокая светловолосая женщина, работавшая в соседней с Уинстоном кабинке. Сразу за ней села темноволосая девушка с красным кушаком.

И вот уже через мгновение с большого телеэкрана в конце комнаты вырвался ужасный скрежет, словно работал какой-то несмазанный ржавый механизм. Это был шум, от которого сводило зубы, и волосы на затылке вставали дыбом. Двухминутка Ненависти началась.

Как обычно, на экране мелькнуло лицо Эммануэля Гольдштейна, самого презренного и коварного врага народа. Кое-где среди публики раздавалось шипение. Маленькая рыжеволосая женщина вскрикнула в порыве страха и отвращения. Гольдштейн был мятежником и предателем, который когда-то давным-давно (сколько времени назад, никто не помнил) был одним из лидеров Партии, почти на уровне самого Большого Брата, а затем принялся вести контрреволюционную деятельность, из-за чего был приговорен к смерти, однако таинственным образом сбежал и скрылся. Программы Двухминуток ненависти менялись изо дня в день, но в каждой из них Гольдштейн был главным персонажем. Он был первым предателем, первым осквернителем чистоты Партии. Все последующие преступления против Партии, все предательства, саботаж, ересь и инакомыслие прямо вытекали из его учения. Говорилось, что он все еще жив и вынашивает свои коварные заговоры: возможно, где-то за морем, под защитой своих иностранных заказчиков, а возможно – как периодически ходили слухи – в каком-нибудь тайнике в самой Океании.

Диафрагма Уинстона сжалась в каком-то спазме. Он никогда не мог смотреть на лицо Гольдштейна без болезненной смеси эмоций. Это было худощавое еврейское лицо с огромным пушистым ореолом седых волос и небольшой козлиной бородкой – умное, но в то же время отвратительное по своей сути лицо, наполненное какой-то старческой глупостью, и этот его длинный тонкий нос, на кончике которого каким-то немыслимым образом держались очки. Лицо его напоминало морду овцы, и голос тоже имел какой-то овечий тон. Гольдштейн проводил свою обычную ядовитую словесную атаку на доктрины Партии – атаку настолько преувеличенную и извращенную, что даже ребенку стало бы понятно, что это полный бред, но при этом все же достаточно правдоподобную, чтобы посеять в ком-то, не столь сообразительном, как он, зерно сомнения и наполнить голову бедняги тревожными мыслями. Он оскорблял Большого брата, осуждал диктатуру Партии, требовал немедленного заключения мира с Евразией, выступал за свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли, выкрикивал, что истинная идея революции была предана – и все это в быстрой многосложной речи, которая была своего рода пародией на привычный стиль партийных ораторов, и даже содержала слова новояза. На самом деле она содержала даже больше слов новояза, чем обычно использовал любой член Партии в реальной жизни. И все это время, чтобы не возникло никаких сомнений относительно реальности, которую скрывала притворная болтовня Гольдштейна, за его головой на телеэкране маршировали бесконечные колонны евразийской армии – шеренги крепких, абсолютно одинаковых мужчин с невыразительными азиатскими лицами мелькали на экране. Приглушенный ритмичный топот солдатских сапог был фоном для блеющего голоса Гольдштейна.

Не прошло и тридцати секунд с начала Двухминутки Ненависти, а половина присутствующих в комнате людей вспыхнула в неконтролируемом порыве ярости и ненависти. Самоодвольное овечьё лицо на экране и ужасающая мощь евразийской армии, стоящей за ним, были невыносимы. Кроме того, вид или даже мысль о Гольдштейне автоматически вызывали страх и гнев. Он был объектом даже более постоянной ненависти, чем Евразия и Остазия, поскольку, когда Океания находилась в состоянии войны с одной из этих держав, она обычно находилась в мире с другой. Но что было странно, так это то, что хотя Гольдштейна все ненавидели и презирали, а его теории ежедневно опровергались, разбивались и высмеивались как полный вздор и бред (ведь это и был вздор и бред) на собраниях и телеэкранах, в газетах и книгах, его влияние, казалось, никогда не уменьшалось. Всегда были новые обманщики, идущие у него на поводу. Не было и дня, чтобы Полиция Мыслей не разоблачала шпионов и саботажников, действующих под его руководством. Он был командиром огромной теневой армии, подпольной сети заговорщиков, занимающихся ниспровержением государства. Говорили, что его организация называется «Братство». А еще люди шептались о том, что существует какая-то ужасная книга, сборник всех ересей, автором которой был Гольдштейн и которую он тайно распространял. Эта книга не имела названия. Люди называли ее просто Книгой. Но все это были лишь туманные слухи. Ни о Братстве, ни о Книге вслух не упоминал ни один член Партии.

На второй минуте ненависть достигла апогея. Люди прыгали и кричали во весь голос, пытаясь заглушить сводящий с ума блеющий голос, доносящийся с экрана. Маленькая рыжеволосая женщина раскраснелась, она жадно хватала ртом воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Даже грозное лицо ОБрайена покраснело. Он сидел в своем кресле очень прямо, его мощная грудь вздувалась и дрожала, как будто он противостоял натиску волны. Темноволосая девушка позади Уинстона начала кричать: «Свинья! Свинья! Свинья!» и вдруг она взяла тяжелый словарь новояза и швырнула его в экран. Он попал Гольдштейну в нос и отскочил от него. Гадкий голос неумолимо продолжал вещать. В какой-то момент Уинстон обнаружил, что он кричит вместе с остальными и сильно пинает пяткой перекладину стула. Ужас Двухминутки ненависти был не в том, что человек был вынужден играть роль, а в том, что волей-неволей ты присоединялся к этому безумству и оно тебя захлестывало. Тридцать секунд, и любые притворства были уже не нужны. Ужасный экстаз страха и мстительности, желание убивать, истязать, разбивать лица кувалдой, казалось, протекал через всю группу людей, как электрический ток, превращая твое лицо в сумасшедшую гримасу. И все же ярость, которую каждый испытывал, была абстрактной, не направленной на что-то конкретное, и ее можно было переключить с одного объекта на другой, как пламя паяльной лампы. Таким образом, в какой-то момент ненависть Уинстона была обращена вовсе не против Гольдштейна, а, наоборот, против Большого Брата, Партии и Полиции Мыслей. В такие моменты его сердце стремилось к одинокому, высмеиваемому всеми еретиком на экране, единственному хранителю истины и здравомыслия в этом мире лжи. И тем не менее, в следующее мгновение он уже оказался в единстве с окружающими его людьми, и все, что было сказано о Гольдштейне, казалось ему правдой. В эти моменты его тайное отвращение к Большому Брату сменялось обожанием, и Большой Брат, этот непобедимый, бесстрашный защитник возвышался и стоял, как скала, против азиатских орд. А Гольдштейн, несмотря на свою изоляцию от цивилизованного общества, беспомощность да и вообще всеобщее сомнение в самом его существовании, казался каким-то зловещим чародеем, способным одной лишь силой своего голоса разрушить все то, что так заботливо создала Партия для своих граждан.

Иногда даже можно было переключить ненависть в ту или иную сторону сознательно. Внезапно, с каким-то неистовым усилием, с которым в кошмаре отрывается голова от подушки, Уинстону удалось перенести свою ненависть с лица на экране на темноволосую девушку позади него. Яркие красивые галлюцинации промелькнули в его голове. Он забивает её до смерти резиновой дубинкой. Он привязывает ее обнаженную к столбу и стреляет в нее стрелами, как в

святого Себастьяна. Он насилует ее и перерезает ей горло в момент наивысшего экстаза. Более того, даже лучше, чем раньше, он осознал, почему ненавидит ее. Он ненавидел ее, потому что она была молодой, красивой, и при этом всем – секс и сексуальность как таковая ее абсолютно не интересовали; потому что он хотел спать с ней, но знал, что этому никогда не бывать, потому что вокруг ее тонкой гибкой талии, которая, казалось, так и просила обвить ее рукой, был обмотан ненавистный алый кушак – агрессивный символ целомудрия.

Ненависть достигла апогея. Голос Гольдштейна превратился в настоящее блеяние овцы, и на мгновение лицо превратилось в овечьё. Затем овечьё лицо растворилось в фигуре евразийского солдата, огромного и ужасного. Казалось, что он со своим неистово грохочущим автоматом сейчас выпрыгнет с экрана прямо на зрителей, так что некоторые люди, сидевшие в передних рядах, испуганно вздрагивали и уклонялись. Но уже в следующий момент, вызвав у всех глубокий выдох облегчения, враждебная фигура растворилась, и ей на смену пришло лицо Большого Брата – черноволосого, черноусого, полного силы и какого-то таинственного и умиротворяющего спокойствия. Лицо его становилось все больше, оно заполнило собой почти весь экран. Никто не слышал, что говорил Большой Брат. Это были всего лишь несколько слов ободрения, которые произносятся в грохоте битвы, неразличимые по отдельности, но внушающие уверенность самим фактом их произнесения. Затем лицо Большого Брата снова исчезло, и вместо него жирным шрифтом были выделены три лозунга Партии:

ВОЙНА – ЭТО МИР

СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

Казалось, что лицо Большого Брата не исчезло полностью, а сохранялось на экране еще в течение нескольких секунд, стало как бы фоном для заветных лозунгов. Воздействие, которое оно оказало на глаза, было слишком сильным, его образ буквально врезался в сознание и не спешил его покидать. Маленькая рыжеволосая женщина бросилась вперед, перепрыгивая через спинку стула перед ней. С дрожью в голосе она бормотала что-то похожее на «Мой Спаситель!» и тянула руки к экрану. Затем она закрыла лицо руками. Я понял, что она произносит что-то вроде молитвы.

В этот момент вся группа начала медленно и ритмично скандировать: «Б-Б! Б-Б!» – снова и снова, очень медленно, с длинной паузой между первой «Б» и второй – тяжелый, бормочущий звук, в котором было что-то дикарское, и на фоне всего этого, казалось, буквально слышался топот босых ног и ритмичные удары тамтамов. Все это продолжалось секунд тридцать. Это мерное гипнотическое песнопение можно было часто услышать в моменты эмоционального пика. Отчасти это был своего рода гимн, такая себе ода мудрости и величию Большого Брата, но как по мне, это был скорее акт самовнушения, преднамеренное подавление сознания посредством ритмичного шума. Внутри у Уинстона все застыло. На Двухминутках ненависти ему не удавалось не поддаться всеобщему эмоциональному порыву, но это нечеловеческое пение «Б-Б!.. Б-Б!» всегда вселяло в него ужас. Конечно, он пел вместе с остальными, иначе было невозможно. Скрывать свои чувства, контролировать свое лицо, делать то, что делают все остальные, было инстинктивной реакцией. Но были моменты, буквально пару секунд, когда даже не столько выражение лица, а просто мимолетный взгляд мог выдать его. И именно в этот момент произошло знаменательное событие – если, конечно, оно вообще произошло.

На мгновение он поймал взгляд ОБрайена. ОБрайен встал. Он снял очки и своим характерным жестом собирался натянуть их себе обратно на нос. Их взгляды встретились на долю секунды, но Уинстон знал – о да, он знал! – что ОБрайен думал о том же, что и он сам. Ошибки быть не могло. Как будто их два разума открылись, и мысли перетекали от одного к другому через их глаза. «Я с тобой», – казалось, говорил ему ОБрайен. «Я точно знаю, что ты чувствуешь. Я знаю все о твоём презрении, твоей ненависти, твоём отвращении. Но не волнуйся, я на твоей стороне!» А затем этот проблеск исчез, и лицо ОБрайена стало таким же непроницаемым, как и у всех.

Все. Он уже и не знал, было ли это на самом деле или ему лишь привиделось. Подобные «инциденты» никогда не имели продолжения. Все, что они делали – это поддерживали в нем веру или надежду, что другие тоже (а не только он сам) являются врагами Партии. Возможно, слухи о масштабных подпольных заговорах все же были правдой – возможно, Братство действительно существовало! Учитывая бесконечные аресты, признания и казни, невозможно было непреклонно полагать, что Братство – это просто миф. Иногда он верил в это, иногда нет. Не было никаких доказательств, только такие вот мимолетные проблески, которые могли означать что угодно или не означать абсолютно ничего, обрывки подслушанного разговора, еле заметные каракули на стенах туалета. Иногда даже легкое движение руки, когда сталкивались двое незнакомых людей, казалось ему каким-то тайным сигналом или паролем. Но все это были лишь догадки: скорее всего, у него просто разыгралось воображение. Он вернулся в свою кабинку, больше на ОБрайена он не смотрел. Идея дать какое-то продолжение их кратковременному зрительному контакту мелькала у него в голове. Это было бы невероятно опасно, даже если бы он знал, как это сделать. На секунду или две они обменялись с ОБрайеном двусмысленными взглядами, и на этом был конец истории. Но даже это было для Уинстона памятным событием в том мучительном одиночестве, в котором ему приходилось жить.

Уинстон вернулся к реальности и выпрямился. Он испустил отрыжку – это джин напомнил о себе из желудка.

Его глаза снова сосредоточились на странице. Он обнаружил, что пока беспомощно сидел в раздумьях, он тоже писал, как будто автоматически. И это был уже не тот мелкий, корявый почерк, как раньше. Его перо легкими движениями скользило по гладкой бумаге, выписывая большими аккуратными прописными буквами...

ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА
ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА

Снова и снова. Он исписал уже половину страницы.

Его охватила паника. Это было абсурдом, поскольку написание этих конкретных слов было не более опасным, чем открыть проклятый блокнот и начать вести дневник, но на мгновение у него возникло искушение вырвать исписанные страницы и полностью отказаться от всей этой затеи.

Но он этого не сделал, потому что знал, что это бесполезно. Писал он «Долой Большого брата» или нет – не имело значения. Будет он продолжать вести дневник или прекратит, тоже не имело значения. Полиция Мыслей все равно узнает и придет за ним. Даже если бы он не прикоснулся пером к бумаге, не важно, он уже совершил серьезное преступление. Это называлось «мыслепреступление». Мысленное преступление невозможно было вечно скрывать. Вы можете успешно таяться какое-то время, даже в течение многих лет, но рано или поздно они обязательно вас поймают.

Это всегда было ночью – аресты неизменно происходили ночью. Вас внезапно вырывали из сна, грубая рука трясла ваше плечо, в глаза бил яркий свет, а вокруг вашей кровати стояли

люди, глядя на вас с каменными лицами. В большинстве случаев не было ни суда, ни даже сообщения об аресте. Люди просто исчезали, всегда ночью. Ваше имя просто удалялось из реестров вместе со всеми записями о том, что вы когда-либо делали. Вас просто стирали из реальности, ваше существование в один момент удалялось, а затем просто забывалось. Вас упраздняли, уничтожали, или, как было принято говорить – испаряли.

На мгновение Уинстона охватила какая-то истерия. Он начал писать торопливыми неопрятными каракулями:

«они будут стрелять в меня, меня не волнует, что они будут стрелять мне в затылок мне все равно долой большого брата они всегда стреляют тебе в затылок мне плевать долой большого брата».

Уинстон откинулся на спинку стула, ему даже было немного стыдно за самого себя. Он отложил ручку. В следующий момент он резко вздрогнул. В дверь постучали.

Уже! Он сидел неподвижно, как мышь, в тщетной надежде, что кто бы это ни был, он уйдет после первой попытки. Но нет, стук повторился. Хуже всего будет оттягивать это дело. Его сердце колотилось, как барабан, но лицо из-за долгой привычки, вероятно, оставалось невозмутимым. Он встал и медленно пошел к двери.

Глава 2

Взявшись за ручку двери, Уинстон увидел, что оставил дневник открытым на столе. «Долой Большого брата» было написано повсюду, причем такими большими буквами, что разобрать написанное можно было с любой точки в комнате. Это было невероятно глупо с его стороны. Но даже в панике он не хотел замарать кремовую бумагу, закрыв книгу, пока чернила были влажными.

Он вдохнул и открыл дверь. Мгновенно на него накатила теплая волна облегчения. Снаружи стояла бледная, подавленная женщина с тонкими волосами и морщинистым лицом.

«О, товарищ, – сказала она унылым, ноющим голосом, – мне показалось, что я слышала, как вы вошли. Как вы думаете, вы могли бы подойти и взглянуть на нашу кухонную раковину? Кажется, она забилась, и...»

Это была миссис Парсонс, жена его соседа по этажу. Вообще слово «миссис» несколько осуждалось Партией – вы должны были называть всех «товарищами» – но с некоторыми женщинами это слово срывалось с языка инстинктивно. Это была женщина лет тридцати, но выглядела она намного старше. Создавалось впечатление, что в морщинах ее лица скапливалась пыль. Уинстон последовал за ней по коридору. Почти каждый день что-то то отваливалось, то ломалось, то засорялось. «Победа» – это старый многоквартирный дом, построенный примерно в 1930 году, и он уже буквально разваливался на части. Штукатурка постоянно отслаивалась от потолков и стен, трубы лопались при каждом сильном морозе, крыша протекала всякий раз, когда выпадал снег, отопительная система обычно работала лишь наполовину, если ее и вовсе не отключали полностью из соображений экономии. Чтобы что-то починить – если вы конечно не могли сделать этого своими руками – нужно было ждать санкцию от удаленных комитетов, так что даже простейший ремонт оконного стекла мог затянуться на пару лет.

«Конечно, это только потому, что Тома нет дома», – неопределенно добавила миссис Парсонс.

Квартира Парсонсов была больше, чем у Уинстона, но выглядела очень убого. Все выглядело каким-то обшарпанным и поломанным, как будто здесь только что буйствовал какой-то большой дикий зверь. На полу валялись клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, пара вывернутых наизнанку потных шорт, а на столе громоздилась куча грязной посуды и рваные тетради. На стенах красовались знамена Молодежной лиги и Отряда юных разведчиков, а также большой плакат с изображением Большого Брата. Пахло вареной капусты, как и всегда в этом здании – казалось, этим запахом были уже пропитаны сами стены дома – но сейчас этот запах перебивала резкая вонь пота, причем с первого вдоха ты понимал (как именно – объяснить невозможно), что это пот человека, которого сейчас нет в помещении. В соседней комнате кто-то при помощи деревянной расчески и рулона туалетной бумаги пытался подыгрывать военному маршу, который все еще доносился с телеэкрана.

«Это дети, – сказала миссис Парсонс, бросив на дверь испуганный взгляд, – они сегодня не выходили гулять, и конечно же...»

У нее была привычка обрывать предложения на середине. Кухонная раковина была почти до краев заполнена грязной зеленоватой водой, оттуда воняло капустой даже хуже, чем обычно. Уинстон опустил на колени и осмотрел угловое соединение трубы. Он терпеть не мог пачкать руки и ненавидел наклоняться, потому что это всегда вызывало у него приступ кашля. Миссис Парсонс беспомощно на него смотрела.

«Конечно, если бы Том был дома, он бы сразу все починил, – сказала она, – он любит все чинить. У него золотые руки, у моего Тома».

Парсонс был коллегой Уинстона в Министерстве правды. Он был тучным, но активным человеком – яркий пример человеческой глупости и тупого энтузиазма – одним из тех само-

забвенно преданных рабочих, беспрекословно выполняющих все указания. От таких как он стабильность Партии зависела даже больше, чем от Полиции Мыслей. В тридцать пять лет его исключили из Молодежной лиги в силу его возраста, а до этого, перед тем, как перейти в Молодежную лигу, он каким-то образом пересидел в Отряде юных разведчиков аж на целый год больше, чем позволял ему его возраст. В министерстве он работал на какой-то заурядной должности, для которой не требовалось много ума, но зато он был видной фигурой в Спортивном комитете и других комитетах, участвовавших в организации общественных походов, спонтанных демонстраций, кампаний по экономии средств и ресурсов и прочих добровольных мероприятий. Во время перекура он не упускал возможности с гордостью упомянуть, что в течение последних четырех лет он каждый вечер появлялся в Общественном центре. Сильный запах пота, своего рода бессознательное свидетельство его напряженного графика и бурной общественной деятельности, сопровождал его повсюду, куда бы он ни шел, и потом еще долго висел в воздухе после его ухода.

«У вас есть разводной ключ? – спросил Уинстон, воюя с гайкой на угловом стыке труб.

«Разводной ключ...? – аморфно переспросила миссис Парсонс. «Я даже не знаю, я не уверена... Возможно, дети...»

Когда дети ворвались в гостиную, раздался топот сапог и очередной удар гребня по рулону. Миссис Парсонс принесла разводной ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением удалил клочок человеческих волос, забивший трубу. Он как мог вымыл пальцы холодной водой из-под крана и вернулся в гостиную.

«Руки вверх!» – заверещал детский голос.

Симпатичный, крепкого телосложения мальчишка лет девяти выскочил из-за стола и стал угрожать ему игрушечным автоматом, в то время как его младшая сестра, примерно на два года младше, сделала тот же жест веткой от дерева. Оба были одеты в синие шорты, серые рубашки и красные шейные платки, которые были униформой Отряда юных разведчиков. Уинстон поднял руки над головой, но его охватило какое-то тревожное чувство, потому что мальчик вел себя так, словно для него это была вовсе не игра.

«Ты предатель!» – кричал он. «Ты мысленный преступник! Ты евразийский шпион! Я застрелю тебя, испарю, отправлю в соляные шахты!»

И тут они оба начали прыгать вокруг него, выкрикивая «Предатель! Мыслепреступник!». Маленькая девочка подражала своему брату в каждом движении. Это было даже немного пугающе: как игра тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах мальчика была какая-то расчетливая свирепость, совершенно очевидное желание ударить или пнуть Уинстона, а еще осознание того, что он уже почти дорос до того, чтобы сделать это. «Хорошо, что это не настоящий автомат», – подумал Уинстон.

Взгляд миссис Парсонс нервно метался с Уинстона на детей и обратно. Сейчас в более ярком освещении гостиной он с интересом отметил про себя, что в морщинах ее лица действительно была пыль.

«Они порой бывают такие шумные, – сказала она, – они просто расстроились, потому что не смогут пойти посмотреть на повешение. Вот в чем дело. У меня слишком много дел, чтобы вести их туда, а Том не успеет вернуться с работы, чтобы с ними сходить».

«Почему мы не можем пойти посмотреть на повешение?» – взревел мальчик.

«Хочу увидеть повешение! Хочу увидеть повешение!» – закричала девочка, все еще прыгая.

Уинстон вспомнил, что в тот вечер в парке должны были казнить парочку евразийских пленных, виновных в военных преступлениях. Это происходило примерно раз в месяц и было популярным зрелищем. Дети всегда требовали, чтобы их водили посмотреть на казнь. Он попрощался с миссис Парсонс и направился к двери. Но не успел он пройти и нескольких метров, как что-то прилетело ему по затылку, нанеся мучительно болезненный удар. Было такое

ощущение, что в него воткнули раскаленную проволоку. Он обернулся и увидел, как миссис Парсонс тащит сына обратно в квартиру, а мальчик с ухмылкой засовывает в карман рогатку.

«Гольдштейн!» – проревел мальчик, когда дверь за ними закрылась. Но что больше всего поразило Уинстона, так это выражение беспомощного испуга на сероватом лице женщины.

Вернувшись в квартиру, он быстро миновал телеэкран и снова сел за стол, все еще потирая затылок. Музыка на телеэкране прекратилась. Теперь грозный военный голос пафосно зачитывал описание вооружения новой Плавучей крепости, которая только что стала на якорь между Исландией и Фарерскими островами.

Он подумал, что с такими сорванцами жизнь этой несчастной женщины, должно быть, не сахар. Еще год или два, и они будут наблюдать за ней день и ночь в поисках симптомов инакомыслия. В наши дни почти все дети были такими. Хуже всего было то, что с помощью таких организаций, как Юные разведчики, они систематически превращались в неуправляемых маленьких дикарей, и, тем не менее, это абсолютно не побуждало их восставать против партийной дисциплины. Напротив, они обожали Партию и все, что с ней связано. Песни, шествия, знамена, походы, тренировка с манекенами, выкрикивание лозунгов, поклонение Большому Брату – все это было для них отличной игрой. Вся их свирепость была обращена вовне, против врагов государства, против иностранцев, предателей, саботажников, мысленных преступников. Для людей старше тридцати было привычным бояться собственных детей. И не зря, не проходило и недели, чтобы в «Таймс» не появлялась заметка, описывающая, как какой-то мелкий доносчик – правда, обычно употреблялась фраза «ребенок-герой» – подслушал компрометирующее замечание и сообщил Полиции Мыслей о своих родителях.

Боль в затылке прошла. Он без энтузиазма взял ручку, размышляя, что бы еще написать в дневнике. Внезапно он снова начал думать об ОБрайене.

Много лет назад... Так, много это сколько? Где-то семь лет назад ему приснилось, что он идет через темную комнату. И вот кто-то, сидевший сбоку сказал, когда он проходил мимо: «Мы встретимся там, где нет темноты». Это было сказано очень тихо, как бы невзначай, просто сообщение, а не указание. Он шел дальше, не останавливаясь. Что любопытно, в то время, во сне, слова не произвели на него особого впечатления. Только потом постепенно они, казалось, начали приобретать для него значение. Он уже не мог вспомнить: до или после сна он впервые увидел ОБрайена, и когда он понял, что узнал его голос. Но в любом случае это был он, это ОБрайен говорил с ним из темноты.

Уинстон никогда не был до конца уверен – даже после их утренней встречи взглядами – был ОБрайен другом или врагом. Но это было и не важно. Между ними существовала связь, понимание, а это было важнее дружбы или верности Партии. «Мы встретимся там, где нет темноты», – сказал он. Уинстон не знал, что это значит, знал только то, что так или иначе это сбудется.

Голос с телеэкрана замолчал. Звук фанфар, чистый и бодрый, заполнил душную комнату. Голос резко объявил:

«Внимание! Внимание! Только что пришла сводка с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали славную победу. Я уполномочен заявить, что действия, о которых мы сейчас сообщаем, могут окончить войну уже в ближайшем будущем. Экстренное сообщение...»

«О, а сейчас скажут что-то плохое», – подумал Уинстон. И действительно, вслед за кровавым описанием уничтожения евразийской армии с огромным количеством убитых и пленных последовало объявление о том, что со следующей недели шоколадный паек будет сокращен с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон снова отрыгнул. Действие джина улетучивалось, оставляя после себя лишь чувство подавленности. Телеэкран – возможно, чтобы отпраздновать блестящую победу, а может быть, чтобы затмить новость об уменьшении шоколадного пайка – начал проигрывать «Океа-

ния, это для тебя». По правилам, нужно было стоять по стойке смирно во время этого гимна. Однако сейчас его не было видно, поэтому он остался сидеть.

После «Океания, это для тебя» заиграла более легкая музыка. Уинстон подошел к окну, держась спиной к телеэкрану. День был по-прежнему холодным и ясным. Где-то далеко с глухим ревом взорвалась баллистическая ракета. Сейчас на Лондон приходилось около двадцати или тридцати ракетных ударов в неделю.

Внизу на улице ветер трепал разорванный плакат, и слово «АНГСОЦ» то появлялось, то исчезало. АНГСОЦ. Священные принципы АНГСОЦ. Новояз, двоемыслие, изменчивость прошлого. Его охватило ощущение, будто он блуждает в зарослях морского дна, заблудившись в каком-то чудовищном мире, где он и сам был чудовищем. Он был один. Прошлое было мертво, а будущее невообразимо. Мог ли он хоть с крупницей уверенности сказать, что на его стороне сейчас был хоть один человек на Земле? И как узнать, что диктатура Партии не будет длиться вечно? В качестве ответа на него смотрели три лозунга на белом фасаде Министерства Правды:

ВОЙНА – ЭТО МИР

СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО

НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА

Он вынул из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней тоже мелкими четкими буквами были написаны те же лозунги, а на другой стороне монеты изображено лицо Большого Брата. Даже с монеты глаза преследовали тебя. На монетах, марках, обложках книг, транспарантах, плакатах, на упаковке сигаретной пачки – они были везде. Эти глаза всегда наблюдали за тобой, а голос преследовал, куда бы ты ни пошел. Сон или бодрствование, работа или отдых, в помещении или на улице, в ванной или в постели – скрыться было негде. Ничего не было твоим, кроме нескольких кубических сантиметров внутри твоего черепа.

Солнце скрылось за зданиями, и бесчисленные окна Министерства Правды, на которые больше не попадал солнечный свет, выглядели мрачно, словно бойницы крепости. Сердце Уинстона дрогнуло от вида этого огромного пирамидального монстра. Здание министерства было слишком неприступным, его невозможно было штурмовать. Даже тысяче баллистических ракет не под силу уничтожить его. Он снова задумался, для кого он пишет дневник. Для будущего? Для прошлого? А может, для воображаемой эпохи, которой не суждено никогда настать? То, что лежало сейчас на его столе сулило не смерть, а полное уничтожение. Дневник превратится в пепел, а он сам испарится. Только Полиция Мыслей могла прочитать то, что он написал, прежде чем стереть это с лица земли и из памяти. Как можно обращаться к будущему поколению, если не останется ни следа ни от вас самих, ни от безымянных строк, нацарапанных на листе бумаги?

Телеэкран пробил четырнадцать ноль-ноль. У него еще есть десять минут. Он должен успеть вернуться на работу к четырнадцати тридцати.

Удивительно, но бой часов, казалось, воодушевил его. Он был словно одинокий призрак, говорящий правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он будет говорить эту правду, связь поколений будет поддерживаться. И дело вовсе не в том, что тебя кто-то услышит, а в том, что ты сам остаешься в здоровом уме. Он вернулся к столу, обмакнул перо в чернила и написал:

«В будущее или прошлое, во времена, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночестве, во времена, когда правда существует и то, что сделано, не может быть отменено: из эпохи однообразия, эпохи одиночества, эпохи Большого Брата, эпохи двоемыслия – привет!»

Он словил себя на мысли, что он уже мертв. Ему казалось, что только теперь, когда он начал формулировать свои мысли, он сделал решительный шаг и пути обратно уже не было. В каждое наше действие уже заложены последствия. Он написал:

«Мыслепреступление не влечет за собой смерть: мыслепреступление – это и есть смерть».

Теперь, когда он осознал, что уже мертв, важно было оставаться в живых как можно дольше. Два пальца правой руки были испачканы чернилами. Это была именно та деталь, которая могла его выдать. Какой-нибудь фанатик в министерстве (вероятно, женщина, кто-то вроде рыжеволосой женщины или темноволосой девушки из Отдела Художественной литературы) может начать задаваться вопросом, почему он писал в обеденный перерыв, почему он использовал старомодное перо, что же он там писал, – а затем расскажет об этом кому следует. Он пошел в ванную и тщательно стер чернила при помощи зернистого темно-коричневого мыла, которое царапало кожу, как наждачная бумага, и поэтому отлично подходило для этой цели.

Он положил дневник в ящик. Было совершенно бесполезно думать о том, чтобы его прятать, но он, по крайней мере, мог легко проверять, был ли кем-то обнаружен его дневник. Волос, уложенный на уголке страницы – банально и слишком очевидно. Кончиком пальца он поднял узнаваемую для него крупинку беловатой пыли и положил ее на угол обложки, откуда она должна была отряхнуться, если книгу сдвинуть.

Глава 3

Уинстону снилась его мать.

Он предполагал, что ему было лет десять или одиннадцать, когда его мать исчезла. Она была высокой, статной, тихой женщиной с медленными движениями и великолепными светлыми волосами. Отца он помнил смутно, темноволосый и худой, всегда одет в аккуратную темную одежду (Уинстон запомнил особенно тонкую подошву отцовских туфель), а на носу очки. Очевидно, они стали жертвами одной из первых крупных чисток пятидесятых годов.

Мать сидела где-то глубоко внизу с его младшей сестрой на руках. Он совсем не помнил свою сестренку, кроме того, что это был крохотный, слабый ребенок, всегда молчаливый, с большими настороженными глазами. Обе они смотрели на него снизу вверх. Они были внизу – на дне колодца или в очень глубокой могиле – и это место удалялось куда-то еще глубже вниз. Иногда они были в кабине тонущего корабля и смотрели на него сквозь темнеющую воду. В кабине все еще был воздух, они все еще могли видеть его, а он их, но все это время они погружались в зеленые воды, которые в любое мгновение готовы были навсегда поглотить их. Он стоял на свету, мог спокойно дышать, в то время как они погружались в пучину без единого шанса на спасение. Они были там, потому что он был здесь. Он знал это, и они это знали, он видел это знание на их лицах. Но ни в их взглядах, ни в их сердцах не было упрека, лишь только осознание того, что они должны умереть, чтобы он мог жить, и что это было частью неизбежного порядка вещей.

Он не мог вспомнить, что произошло, но он знал во сне, что каким-то образом жизни его матери и его сестры были принесены в жертву ради его спасения. Это были видения, которые хоть и сохраняли характерные признаки и пейзажи сновидения, являлись продолжением мыслей и воспоминаний человека, и в них человек мог узнавать факты и идеи, которые после пробуждения казались ему новыми и ценными. Уинстона внезапно поразило то, что смерть его матери, почти тридцать лет назад, была трагической и печальной, но ведь это уже было невозможным. Трагедия, как он понимал, была пережитком старых времен, времен, когда людям еще была доступна частная жизнь, любовь и дружба, когда члены семьи поддерживали и защищали друг друга, и им не нужна была для этого какая-то определенная причина. Воспоминания о матери разрывали его сердце на куски, потому что он понял, что она умерла, любя его, а он тогда был слишком мал и эгоистичен, чтобы любить ее в ответ. Она пожертвовала собой, хоть он и не помнил, как именно это произошло, ради идеи верности своей семье, которую считала несокрушимой. Он понимал, что сегодня такого уже не может произойти. Сегодня людьми руководили только страх, ненависть и боль, им уже были не знакомы никакие благородные чувства, такие как достоинство или же искренняя печаль. Все это он, казалось, видел в больших глазах своей матери и сестры, смотрящих на него сквозь зеленую воду, опускаясь все глубже и глубже, и по-прежнему тонущих.

Внезапно он оказался на зеленом лугу летним вечером, косые лучи солнца золотили землю. Пейзаж, на который он смотрел, так часто повторялся в его снах, что он уже начал подозревать, что видел его в реальном мире. Когда он просыпался и думал об этом, он называл это место Золотой страной. Это было старое пастбище, общипанное кроликами, там была виляющая тропинка, и то тут, то там были кротовые норы. На противоположной стороне луга ветви вязов слабо покачивались на ветру, их густая крона элегантно шевелилась, словно женские волосы. Где-то поблизости, хоть Уинстон его не видел, протекал чистый ручей, в водах которого под ивами резвилась рыбка.

Через поле к нему шла темноволосая девушка. Вдруг одним ловким движением она сорвала с себя одежду и презрительно отбросила ее в сторону. Ее тело было нежным и гибким, но оно не вызывало в нем желания, он даже не смотрел на него. В тот момент его восхитил сам

жест, с которым она отбросила свою одежду, своей грацией и небрежностью он, казалось, уничтожил целую культуру, целую систему мышления. Казалось, что и Большой Брат, и Партия, и Полиция Мысли могли быть обращены в ничто одним великолепным движением ее хрупкой руки. Это тоже был жест старых времен. Уинстон проснулся, повторяя слово «Шекспир».

Телеэкрэн издал оглушительный монотонный свист, который не утихал ровно тридцать секунд. Семь пятнадцать, время подъема для офисных работников. Уинстон заставил себя вылезти из постели – спал он нагишом, потому что на одежду он получал от Партии всего лишь 3000 купонов в год, а пижама стоила аж 600. Он схватил грязную майку и семейки, которые лежали на стуле. Утренняя зарядка начнется через три минуты. В следующую секунду его согнуло пополам из-за сильного приступа кашля, который почти всегда мучил его вскоре после пробуждения. Он настолько опустошал его легкие, что восстановить дыхание удавалось только лежа на спине и делая серию глубоких вдохов. Его вены набухли от кашля, и варикозная язва начала чесаться.

«Группа от тридцати до сорока!» – твякнул пронзительный женский голос. «Группа от тридцати до сорока! Пожалуйста, займите свои места. От тридцати до сорока!»

Уинстон подскочил и стал по стойке «смирно» перед телеэкраном, на котором уже появилось изображение молодой женщины, худой, но мускулистой, одетой в тунику и кроссовки.

«Сгибание и разгибание рук!» – протараторила она. «Повторяйте за мной. Один два три четыре! Один два три четыре! Давайте, товарищи, взбодритесь! Один два три четыре! Один два три четыре!...»

Боль в груди после приступа кашля немного смазала впечатления от сна, но ритмичные движения снова оживили их. Пока Уинстон машинально крутил руками взад и вперед с выражением непреклонной радости на лице (а именно такое выражение считалось правильным во время утренней зарядки), он изо всех сил пытался мысленно вернуться во времена своего раннего детства. Это было необычайно сложно. Жизнь до пятидесятих годов как будто стерлась из памяти. Не было никаких записей и свидетельств, к которым можно было бы обратиться, и даже ваша собственная жизнь казалась призрачной и туманной. Вы помнили какие – то крупные события, которые, с большой вероятностью, вовсе и не происходили, вы помнили какие-то отдельные детали, но не могли воссоздать в памяти всю картину. А еще были длинные временные провалы, воспоминаний о событиях, произошедших в эти периоды, не было вообще. В старые времена все было иначе. Даже названия стран и их очертания на карте были другими. Например, Взлетная полоса № 1 в те дни так не называлась: ее называли Англией или Британией, хотя он был совершенно уверен, что Лондон всегда назывался Лондоном.

Уинстон не мог точно вспомнить время, когда Океания не находилась в состоянии войны, но он был почти уверен, что в его детстве был довольно длительный период мира, потому что одно из его ранних воспоминаний было о воздушной атаке, которая, казалось, застала всех врасплох. Возможно, это было время, когда на Колчестер была сброшена атомная бомба. Он не помнил самого налета, но он помнил, как отец сжимал его руку, когда они спешили вниз, вниз, вниз, в какое-то место глубоко под землей, он помнил винтовую лестницу, которая звенела у него под ногами и которая в конце концов так утомила его, что он начал ныть, так что им пришлось остановиться и отдохнуть. Его мать в своей обычной медленной и мечтательной манере шла далеко за ними. Она несла на руках его младшую сестру – или, может быть, она несла всего лишь связку одеял: он не был уверен, родилась ли тогда уже его сестра. Наконец они оказались в шумном, людном месте, которое, как он понял, было станцией метро.

Одни люди сидели на полу, выложенном каменной плиткой, а другие, плотно прижавшись друг к другу, сидели на многоярусных металлических койках. Уинстон, его мать и отец нашли себе место на полу, а рядом на койке бок о бок сидела пожилая пара. На старике был добротный темный костюм и черная матерчатая фуражка, из-под которой торчали белые седые волосы, лицо его было красным, а глаза голубыми и полными слез. От него сильно пахло жи-

ном. Казалось, что вместо пота его кожа выделяет джин, а слезы, текущие из его глаз, тоже были чистымджином. Пусть он и был пьян, но он страдал от горя, искреннего и невыносимого. По-своему, по-детски Уинстон понял, что случилось что-то ужасное, непростительное и неисправимое. Ему также казалось, что он знал, что именно это было. Кого-то, кого старик очень любил, возможно, маленькую внучку, убили. Каждые несколько минут старик повторял:

«Нельзя было им доверять. Я же тебе говорил, мать, говорил! Вот к чему привело наше доверие к ним. А я всегда говорил, что не нужно было доверять этим ублюдкам!».

Но каким именно ублюдкам им не следовало доверять, Уинстон теперь не мог вспомнить.

Примерно с того времени война была буквально непрерывной, хотя, если разобраться, это не всегда была одна и та же война. В течение нескольких месяцев его детства в самом Лондоне происходили беспорядочные уличные бои, некоторые из которых он хорошо помнил. Но проследить историю всего периода, сказать, кто с кем сражался в какой-то определенный момент, было невозможно, поскольку ни в письменных источниках, ни в устных пересказах не упоминалось ни о каком другом мировоззрении, кроме ныне существующего. В данный момент, например, в 1984 году (если это был 1984 год) Океания находилась в состоянии войны с Евразией и в союзе с Остазией. Ни в одном публичном или частном высказывании никогда не признавалось, что эти три силы когда-либо были сгруппированы иначе. На самом деле, как хорошо знал Уинстон, прошло всего четыре года с тех пор, как Океания вела войну с Остазией и была в союзе с Евразией. Но это было тайное знание, которым он обладал, потому что каким-то образом его память сохранила этот факт. Официально смены союзников не происходило. Океания находилась в состоянии войны с Евразией – это означало, что Океания всегда находилась в состоянии войны с Евразией. «Сегодняшний» враг государства всегда олицетворял абсолютное зло, и из этого следовало, что любое прошлое или будущее соглашение с ним было невозможно.

Страшно, подумал он в десятитысячный раз, с хрустом отводя плечи назад (руки на бедрах, повороты туловища из стороны в сторону, упражнение, которое должно было быть полезным для мышц спины) – больше всего пугало то, что все это могло быть правдой. Если Партия действительно могла засунуть руку в прошлое и сказать о том или ином событии, что его никогда не было, то это, конечно, было страшнее любых пыток и смерти.

Партия заявляла, что Океания никогда не была в союзе с Евразией. Но он, Уинстон Смит, знал, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года назад. Но где существовало это знание? Только в его собственном сознании, которое в любом случае будет скоро уничтожено. И если все остальные принимают ложь, которую навязывает Партия, за правду, если все записи рассказывают одну и ту же историю, тогда ложь уходит в историю и становится правдой. «Кто контролирует прошлое, – гласит один из лозунгов Партии, – тот контролирует будущее: кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое». И все же прошлое, хоть по своей природе и изменяемое, никогда не менялось. Все, что было правдой сейчас, было и будет правдой всегда. Все довольно просто. Все, что было нужно – это нескончаемая череда побед над собственной памятью. Они называли это «контролем реальности», на новоязе – «двоемыслие».

«Стой, раз два! Вольно!» – бодро рявкнула физкультурница.

Уинстон опустил руки по швам и медленно наполнил легкие воздухом. Его разум ускользнул в лабиринт двоемыслия. Знать и не знать, сознавать полную правдивость, рассказывая тщательно сконструированную ложь, одновременно придерживаясь двух взаимоисключающих мнений, зная, что они противоречат друг другу, и верить им обоим, использовать логику против логики, отвергать мораль и при этом якобы следовать ей, верить, что демократия невозможна и что Партия является стражем демократии, забыть все, что нужно было забыть, а затем снова вернуть это в память в тот момент, когда это необходимо, а затем незамедлительно забыть об этом еще раз, и, прежде всего, применить тот же процесс к самому процессу. Тут нужно было проявить чудеса умственной эквилибристики: сознательно вызвать

бессознательное состояние, а затем сознательно забыть только что совершенный акт самогипноза. Даже для понимания слова «двоемыслие» необходимо использовать двоемыслие.

Физкультурница снова дала команду «смирно». «А теперь посмотрим, кто из вас сможет дотянуться до пола!» – с энтузиазмом сказала она. «Спину не округляем, товарищи, пожалуйста. Раз два! Раз два!..»

Уинстон ненавидел это упражнение, так как оно вызывало стреляющую боль от пяток до ягодиц и часто заканчивалось повторным приступом кашля. Сцепив зубы, он продолжил размышлять. Он подумал, что прошлое не просто изменилось, оно было фактически уничтожено. Ибо как можно было установить даже самый очевидный факт, если не существовало никаких записей вне вашей собственной памяти? Он попытался вспомнить, в каком году он впервые услышал упоминание о Большом Брате. Он думал, что это было где-то в шестидесятых, но с уверенностью сказать не мог. В истории Партии, конечно, Большой Брат фигурировал как лидер и страж Революции с самых первых дней ее существования. Его подвиги постепенно отбрасывались все дальше назад во времени, пока не ушли в легендарные сороковые и тридцатые годы, когда капиталисты в своих странных шляпах, которые назывались цилиндрами, все еще разъезжали по улицам Лондона в огромных блестящих автомобилях и стеклянных каретах, запряженных лошадьми. Никто уже и не знал, что было правдой, а что выдумкой. Уинстон не мог даже вспомнить, когда возникла сама Партия. Он не припоминал, чтобы когда-либо слышал слово АНГСОЦ до 1960 года, но было возможно, что в его староязычной форме, а именно «английский социализм», оно использовалось и раньше. Все было очень туманным. Но иногда действительно можно было указать на определенную ложь. Ложью было, например, то (а именно это утверждается в партийных учебниках истории), что Партия изобрела самолеты. Однако Уинстон отчетливо помнил самолеты с самого раннего детства. Но доказать это было невозможно. Потому что никаких доказательств не существовало. Лишь раз в жизни он держал в руках безошибочное документальное доказательство подмены исторического факта. И тогда:

«Смит!» – закричал с телеэкрана пронзительный голос. «6079 Смит У.! Да, да, вы! Наклонитесь ниже, пожалуйста! Я знаю, вы можете. Вы не стараетесь. Пожалуйста, ниже! Вот так-то лучше, товарищ. Группа, вольно. А сейчас смотрите на меня».

Внезапно по всему телу Уинстона выступил горячий пот. Его лицо при этом оставалось совершенно непроницаемым. Никогда не показывать тревогу! Никогда не показывать обиды! В одно лишь мгновение взгляд мог выдать вас. Он стоял и смотрел, как физкультурница подняла руки над головой и – нельзя сказать, что изящно, но с удивительной аккуратностью и эффективностью – наклонилась и дотронулась ладонями пальцев ног.

«Вот, товарищи! Вот так я хочу, чтобы вы делали. Посмотрите на меня снова. Мне тридцать девять, и у меня четверо детей. А теперь гляньте-ка». Она снова наклонилась. «Вы видите, что мои колени не согнуты. Вы все можете сделать так же, если захотите», – добавила она, выпрямляясь. «Любой человек младше сорока пяти лет вполне способен коснуться пальцами до пола. Не всем нам выпала честь сражаться на передовой, но, по крайней мере, мы все можем поддерживать себя в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте! И моряков в плавучих крепостях! Подумайте, с чем им приходится мириться. А теперь попробуйте еще раз. Вот это другое дело, товарищ, так уже лучше!» – ободряюще добавила она, когда Уинстон с резким выпадом сумел впервые за несколько лет коснуться своих пальцев ног с прямыми коленями.

Глава 4

Начался очередной рабочий день. С непроизвольным глубоким вздохом (и неважно, что телеэкран был рядом) Уинстон притянул к себе диктограф, сдул пыль с микрофона и надел очки. Затем он развернул и скрепил вместе четыре маленьких свертка, которые только что вывалились из пневматической почты с правой стороны его стола.

В его кабинке было три отверстия. Справа от диктографа небольшая пневматическая труба для письменных сообщений, слева большая для газет; а в боковой стене, в пределах досягаемости руки Уинстона, была большая продолговатая щель, защищенная решеткой. Последняя предназначалась для утилизации макулатуры. Тысячи, даже десятки тысяч таких щелей были расположены по всему зданию, не только в каждой комнате, но и через короткие промежутки в каждом коридоре. Почему-то их прозвали дырами памяти. Когда кто-то знал, что какой-либо документ подлежит уничтожению, или если кто-то видел лежащий где-то клочок бумаги, это было автоматическое действие – поднять решетку ближайшей дыры памяти и выбросить его, после чего теплый поток воздуха уносил его к огромным печам где-то в глубинах здания.

Уинстон изучил четыре развернутых листка бумаги. Каждый содержал сообщение из одной или двух строк на сокращенном жаргоне – не новоязе, но состоящем в основном из слов новояза – который использовался в министерстве для внутренних переписок. В сообщениях говорилось следующее:

- «таймс» от 17.3.84 речь бб неверный прогноз африка исправить
- «таймс» от 19.12.83 прогнозы трехлетка 4 квартал 83 опечатки
исправить
- «таймс» от 14.2.84 минизоб неправильно шоколад исправить
- «таймс» от 3.12.83 сообщение бб приказ дваждыплюсхорошо ссылки
неличности переписать полностью подать наверх документацию

С легким чувством удовлетворения Уинстон отложил четвертое сообщение. Это была сложная и ответственная работа, и ей лучше заниматься в последнюю очередь. Остальные три были рутинными делами, хотя второе сообщение, вероятно, сулило утомительное перебирание списков цифр.

Уинстон набрал «ответные номера» на телеэкране и запросил соответствующие выпуски «Таймс», которые выскользнули из пневматической трубки уже всего через несколько минут. Полученные им сообщения относились к статьям и новостям, которые по тем или иным причинам было сочтено необходимым изменить или, согласно официальной терминологии, «исправить». Например, из выпуска «Таймс» от 17 марта стало ясно, что Большой Брат в своем выступлении накануне предсказал, что южноиндийский фронт будет оставаться спокойным, а вскоре начнется евразийское наступление в Северной Африке. Но случилось так, что Евразийское высшее командование начало наступление в Южной Индии, оставив Северную Африку в покое. Поэтому необходимо было переписать абзац речи Большого Брата таким образом, чтобы он мог предсказать то, что действительно произошло. Или выпуск «Таймс» от 19 декабря опубликовал официальные прогнозы производства различных классов потребительских товаров в четвертом квартале 1983 года, который также был шестым кварталом девятого трехлетнего плана. Сегодняшний выпуск содержал заявление о фактическом объеме производства, из которого следовало, что прогнозы во всех случаях были совершенно неверными. Задача Уинстона заключалась в том, чтобы исправить исходные цифры, приведя их в соответствие с более поздними. Что касается третьего сообщения, то оно относилось к очень простой ошибке, которую можно исправить буквально за пару минут. Совсем недавно, в феврале, Министерство

изобилия дало обещание (официальный термин – «категорическое обещание»), что в 1984 году не будет сокращений шоколадного пайка. На самом деле, как было известно Уинстону, шоколадный паек должен был быть уменьшен с тридцати граммов до двадцати в конце текущей недели. Все, что требовалось, это заменить первоначальное обещание предупреждением о том, что, вероятно, в какое-то время в апреле потребуется сократить рацион.

Как только Уинстон обработал каждое сообщение, он вставил свои речевые исправления в соответствующие экземпляры «Таймс» и сунул их в пневматическую трубку. Затем движением, доведенным до автоматизма, он скомкал исходные сообщения и все записи, сделанные им самим, и бросил их в дыру памяти, чтобы их поглотило пламя.

Что именно происходило в невидимом лабиринте пневматических труб, он не знал, но понимал в общих чертах. Как только все необходимые исправления в указанном конкретном номере «Таймс» будут собраны и сопоставлены, этот номер будет перепечатан, исходная копия уничтожена, а исправленная помещена в файлоотсек вместо нее. Этот процесс непрерывного изменения применялся не только к газетам, но и к книгам, журналам, брошюрам, плакатам, листовкам, фильмам, песням, карикатурам, фотографиям – т. е. ко всем видам литературы и документации, которые предположительно могли иметь какое-либо политическое или идеологическое значение. День за днем и почти каждую минуту прошлое обновлялось. Таким образом, каждое предсказание, сделанное Партией, могло быть подтверждено документальными доказательствами как верное, и ни одна новость или какое-либо выражение мнения, которое противоречило нынешнему состоянию дел, не должно было оставаться в архивных записях. Вся история была словно написана карандашом, она стиралась и переписывалась ровно столько, сколько было необходимо. И никак нельзя было потом доказать, что имела место подмена. Основная часть Отдела Документации – к слову, она была гораздо многочисленнее, чем сектор, в котором работал Уинстон – состояла из сотрудников, в обязанности которых входило отслеживание и сбор всех копий книг, газет и других документов, которые должны были быть заменены или подлежали уничтожению. Издания «Таймс», которые из-за изменений в политических взглядах или ошибочных пророчеств, произнесенных Большим Братом, были переписаны дюжину раз, хранились в специальном архиве, и не существовало никакой другой копии, чтобы противопоставить им. Книги также отзывались и переписывались снова и снова, и неизменно переиздавались без признания каких-либо изменений. Даже в письменных инструкциях, которые Уинстон получал и от которых он неизменно избавлялся, как только разбирался с ними, никогда не говорилось и не подразумевалось, что должен быть совершен акт подделки: всегда упоминались описки, ошибки, опечатки или неправильные цитаты, которые необходимо было исправить в интересах точности.

Но на самом деле, подумал он, корректировать численные показатели Министерства изобилия, это даже не подделка. Это просто замена одного вздора другим. Большая часть материала, с которым приходилось иметь дело, не имела никакого отношения к реальной жизни, там было даже меньше реального, чем в обычной прямой лжи. Статистика в своей первоначальной версии была такой же фантастикой, как и в исправленной. Все численные показатели просто брались из воздуха, придумывались самими сотрудниками Отдела Документации. Например, прогноз Министерства изобилия оценивал производство обуви за квартал в сто сорок пять миллионов пар. Фактический же объем производства составил шестьдесят два миллиона. Однако Уинстон, переписывая прогноз, сократил эту цифру до пятидесяти семи миллионов, чтобы как обычно создавалось впечатление, будто квота была перевыполнена. В любом случае, шестьдесят два миллиона не ближе к истине, чем пятьдесят семь или сто сорок пять миллионов. Скорее всего, обувь вообще не производилась. Еще более вероятно, что никто не знал, сколько ее было произведено, впрочем, это никого и не заботило. Все знали, что ежеквартально огромное количество ботинок производилось на бумаге, но примерно половина населения Океании ходила босиком. И так было со всеми зафиксированными событиями, большими

или малыми. Все словно растворялось в мире исправлений и переписываний, и наконец, даже понятие даты и года стало неопределенным.

Уинстон посмотрел через зал. В кабинке на другом конце зала с умным видом сидел Тиллотсон, невысокий мужчина с маленькой темной бородкой. Он работал, не покладая рук, на коленях у него лежала свернутая газета, а губы его почти касались микрофона диктографа. Со стороны казалось, будто он пытался сохранить в секрете то, что надиктовывал, чтобы это осталось только между ним и телеэкраном. Он поднял глаза, и его очки враждебно блеснули в направлении Уинстона.

Уинстон почти не знал Тиллотсона и понятия не имел, над чем тот работал. У сотрудников отдела документации не принято было рассказывать друг другу о своей работе. В длинном зале без окон стояло два ряда кабинок, и его наполнял бесконечный шелест бумаг и гул голосов, надиктовывающих речевые записи. Наверно с десяток людей Уинстон даже не знал по имени, хотя каждый день видел их в коридорах или на Двухминутках ненависти. Он знал, что в кабинке рядом с ним маленькая женщина с песочными волосами изо дня в день выслеживала и удаляла из прессы имена людей, которые были испарены и, следовательно, считались никогда не существующими. В этом была определенная символичность, так как ее собственный муж испарился пару лет назад. Через пару кабинок от него сидел кроткий растяпа по имени Амплфорт, который обладал очень волосатыми ушами и удивительным талантом на ходу придумывать рифмы и говорить стихами. Он занимался исправлением стихов – это называлось редактирование окончательных текстов – ставших идеологически неприемлемыми, но которые по тем или иным причинам должны были быть сохранены в антологиях. И этот зал, насчитывающий пятьдесят или около того рабочих, был всего лишь одной подсекцией, как бы одной сотой в огромном улье Отдела Документации. Дальше по коридору, на верхних и нижних этажах были другие рои рабочих, занятых невообразимым множеством других видов работ. Также существовали огромные типографии со своими младшими редакторами, экспертами по типографике и прочее. Были тщательно оборудованные студии для подделки фотографий. Был и целый Отдел Телепрограмм, в котором работали инженеры, продюсеры и актеры, специально отобранные за их умение имитировать голоса. Существовали целые армии справочников, чья работа заключалась просто в составлении списков книг и периодических изданий, которые следовало отозвать. Были огромные склады, где хранились исправленные документы, и целые этажи с печами, где уничтожались изначальные версии этих материалов. И где-то здесь так или иначе (но где именно никто не знал, это было секретом) сидели руководители, которые координировали все эти процессы и решали, какой фрагмент прошлого должен быть сохранен, какой подделан, а какой полностью уничтожен.

В конце концов, отдел Документации был всего лишь маленькой частью Министерства правды, и его основная задача заключалась не в восстановлении прошлого, а в снабжении граждан Океании газетами, фильмами, учебниками, телеэкранными программами, пьесами, романами... в общем всеми мыслимыми видами информации, от предписаний до развлечений, от статутов до лозунгов, от лирических стихотворений до научных трактатов, от детских книг по орфографии до словаря новояза. Министерство должно было не только обеспечивать и удовлетворять разнообразные потребности Партии, но и делать то же самое на более низком уровне, т. е. на уровне пролетариата. Существовал целый ряд отделов, занимавшихся пролетарской литературой, музыкой, драматургией и развлечениями в целом. Здесь выпускались газеты, в которых почти ничего не было, кроме заметок о спорте, криминальных историй, гороскопов, а также банальные пятицентовые романы, фильмы сексуального содержания и сентиментальные песенки, которые были сочинены исключительно механическими средствами при помощи аппарата, известного как рифмоплет. Был даже целый специальный сектор – «Порносек» на новоязе – занимающийся производством низкопробных порнографических фильмов, которые

рассылались в запечатанных пакетах, и которые можно было просматривать только тем членам Партии, кто был задействован в их производстве.

Три свертка выскользнули из пневматической трубы, пока Уинстон работал, но это были простые задания, и он справился с ними еще до начала Двухминутки ненависти. Когда чувство ненависти в нем утихло, он вернулся в свою кабинку, взял с полки словарь новояза, отодвинул диктограф в сторону, протер очки и принялся за свою главную утреннюю работу.

Самым большим удовольствием в жизни Уинстона была его работа. По большей части это была утомительная рутина, но порой попадались задачи настолько сложные и противоречивые, что в них можно было запутаться, как в хитрой математической головоломке. Тонкие, искусные подделки, в которых вам не на что было опереться, кроме как на знание принципов Ангсоца и ваше собственное понимание того, чего от вас ждет Партия. Уинстону хорошо удавались такие «творческие» задачи. Иногда ему даже доверяли исправление передовых статей в «Таймс», которые были полностью написаны на новоязе. Он развернул сверток, который отложил ранее. В нем было написано:

«таймс» от 3.12.83 сообщение бб приказ дваждыплюсхорошо ссылки
неличности переписать полностью подать наверх документацию

На староязе (или стандартном английском) это могло звучать следующим образом:

«Сообщение о Приказе Большого Брата в «Таймс» от 3 декабря 1983 года крайне неудобствительно и содержит ссылки на несуществующих людей. Перепишите его полностью и перед подачей отправьте свой проект в вышестоящий орган».

Уинстон нашел и прочитал негодную статью. Приказ Большого Брата на этот день, казалось, был посвящен в основном восхвалению работы организации, известной как ФФКК, которая поставляла сигареты и другие удобства морякам в Плавающих крепостях. Некий товарищ Уизерс, видный член Внутренней Партии, был удостоен особого упоминания и награжден орденом «За выдающиеся заслуги» второй степени.

Три месяца спустя ФФКК была внезапно распущена без объяснения причин. Предположительно, Уизерс и его соратники теперь находились в немилости, но ни в прессе, ни по телеэкрану не было сообщений об этом. Этого и следовало ожидать, поскольку политических преступников не принято было предавать суду и публично обличать. «Большие чистки», которым подвергались тысячи людей, сопровождались публичными судебными процессами над предателями и мыслепреступниками, которые признавались в своих преступлениях и впоследствии были казнены, но это были зрелища особого рода, которые происходили не чаще одного раза в несколько лет. Чаще всего люди, вызвавшие недовольство Партии, просто исчезали, и больше о них никто никогда не слышал. Никто никогда не имел ни малейшего представления о том, что с ними случалось. Они даже не всегда умирали. Около тридцати человек, с которыми Уинстон был знаком лично, не считая его родителей, в то или иное время исчезли.

Уинстон задумчиво почесал нос скрепкой. В кабинке напротив товарищ Тиллотсон все еще заговорчески склонился над своим диктографом. На мгновение он поднял голову, и снова кинул враждебный взгляд в сторону Уинстона. Ему стало интересно, занят ли товарищ Тиллотсон той же работой, что и он сам. Это было вполне возможно. Такая сложная работа никогда не будет доверена одному человеку. С другой стороны, передать ее комитету означало бы открыто признать, что имеет место фальсификация. Очень вероятно, что целая дюжина человек сейчас работали над конкурирующими версиями того, что на самом деле сказал Большой Брат. А потом какой-то важный начальник из Внутренней Партии выберет ту или иную версию, отредактирует ее и запустит сложный механизм соответствующих перепроверок, а затем отборная ложь перейдет в постоянные официальные записи и станет правдой.

Уинстон не знал, чем Уизерс не угодил Партии. Возможно, из-за каких-то махинаций или некомпетентности. А возможно, Большой Брат просто избавлялся от слишком популярного и

видного подчиненного. Возможно, Уизерса или кого-то из его близких подозревали в еретических наклонностях. Или, возможно – что было наиболее вероятно – это произошло просто потому, что чистки и испарения были необходимой частью механизма управления государством. Единственная реальная подсказка заключалась в словах «ссылки неличности», которые указывали на то, что Уизерс уже мертв. Хотя не всегда арест означал, что человека уже нет в живых. Иногда людей отпускали и позволяли оставаться на свободе год или два, но потом все равно казнили. Бывало и так, что человек, которого вы давно считали мертвым, появлялся словно призрак на каком-нибудь публичном процессе, где своими показаниями обличал сотни других, прежде чем исчезнуть, на этот раз навсегда. Однако Уизерс уже был «неличностью». Его не было: его никогда не существовало. Уинстон решил, что недостаточно будет просто изменить акценты речи Большого Брата. Лучше будет вообще перевести его заявление в другое русло, абсолютно не связанное с изначальной версией.

Он мог бы превратить речь Большого Брата в обычное разоблачение предателей и мыслепреступников, но это было слишком банально, а если придумать какую-нибудь победу на фронте или триумф перепроизводства в девятом трехлетнем плане, то это слишком усложнит сообщение и потребует дополнительных перепроверок и уточнений. Нет, тут нужна была выдумка чистой воды. Внезапно в его голове возник, так сказать, готовый образ некоего товарища Огилви, который недавно героически погиб на поле боя. Были случаи, когда Большой Брат посвящал свой Приказ Дню памяти какого-то скромного, рядового члена Партии, жизнь и смерть которого он приводил в пример, достойный подражания. Сегодня он должен почтить память товарища Огилви. Товарища Огилви никогда не существовало, но несколько напечатанных строк и пара фальшивых фотографий легко это исправят.

Уинстон на мгновение задумался, затем притянул к себе диктограф и начал надиктовывать в привычном стиле Большого Брата. Стиль этот было довольно легко подражать, он был одновременно военный и педантичный, и отличался характерной особенностью – задавать вопросы, а затем быстро отвечать на них («Какой урок мы должны извлечь из этого, товарищи? Урок, который является одним из основополагающих принципов Ангсоца...», и так далее, и тому подобное).

В трехлетнем возрасте товарищ Огилви отказался от всех игрушек, кроме барабана, автомата и вертолетика. В шесть лет – на год раньше, чем положено, но Партия великодушно пошла ему навстречу – он присоединился к Юным разведчикам, а в девять лет уже стал командиром отряда. В одиннадцать он сообщил Полиции Мыслей о своем дяде после того, как подслушал разговор, который, как ему показалось, имел преступные наклонности. В семнадцать лет он был районным организатором Молодежной антисексуальной лиги. В девятнадцать сконструировал ручную гранату, которая была принята на вооружение Министерством Мира и которая при первом же испытании убила тридцать одного евразийского заключенного за раз. В двадцать три года он героически погиб в бою. Преследуемый вражескими реактивными самолетами во время полета над Индийским океаном с важными депешами, он утяжелил свое тело пулеметом и выпрыгнул из вертолета в воду, захватив собой на дно и сами депеши, чтобы они не достались врагу – так он и погиб, сказал Большой Брат, и этот поступок непроизвольно вызывает чувство белой зависти. Большой Брат добавил несколько замечаний о чистоте и целеустремленности жизни товарища Огилви. Он был категорическим трезвенником и не курил, не тратил время на глупые развлечения, и ежедневно занимался в спортзале, а еще дал обет безбрачия, считая брак и заботу о семье несовместимыми с круглосуточным служением своей родине. Он не говорил ни о чем, кроме принципов ангсоца, и единственной целью его жизни было уничтожение евразийского врага и охота на шпионов, саботажников, мыслепреступников и предателей великого государства Океания.

Уинстон все никак не мог решить, наградить ли товарища Огилви орденом «За выдающиеся заслуги», но в конце концов все же отказался от этой затеи из-за ненужных перекрестных ссылок и перепроверок, которые это может повлечь за собой.

Он снова взглянул на своего соперника в противоположной кабинке. Теперь он уже был почти уверен, что Тиллотсон был занят той же работой, что и он сам. Невозможно было узнать, чья версия будет в конце концов принята как окончательная, но он был глубоко убежден, что это будет его собственная работа. Товарищ Огилви, о котором час назад никто не знал, теперь стал фактом. Ему показалось любопытным, что можно создавать мертвых людей, а не живых. Товарищ Огилви, которого никогда не существовало в настоящем, теперь существовал в прошлом, и как только факт подмены будет забыт, его существование будет таким же достоверным, как и существование Карла Великого или Юлия Цезаря.

Глава 5

В столовой с низким потолком, глубоко под землей, очередь за обедом медленно двигалась вперед. Там собралась уже целая толпа людей и в помещении стоял оглушительный шум голосов. Кисловатый металлический запах тушеного мяса, который валил через узкое окошко прилавка, не сумел перебить привкус джина «Победа». В дальнем конце зала был небольшой бар, точнее это было простое отверстие в стене, где джин можно было купить по десять центов за стакан.

«Тебя-то я и ищу, – сказал голос позади Уинстона.

Он обернулся. Это был его друг Сайм, работавший в Исследовательском отделе. Возможно, «друг» было не совсем правильное слово. Нынче у вас не было друзей, а только товарищи, но были товарищи, общество которых было немного приятнее. Сайм был филологом, знатоком новояза. Он входил в большую группу экспертов, которые как раз работали над составлением одиннадцатого издания Словаря новояза. Сайм был мельче Уинстона, тощий, маленького роста, с темными волосами и глазами навывкате. Лицо у него было одновременно печальное и насмешливое, и, казалось, что во время разговора он всегда внимательно изучает ваше лицо.

«Я хотел спросить, есть ли у тебя лезвия для бритвы», – сказал он.

«Ни одного!» – сказал Уинстон с некоторой виноватой поспешностью. «Где я только не искал. Кажется, их больше не существует».

Сейчас все постоянно просили друг у друга лезвия для бритвенных станков. На самом деле у Уинстона еще осталось два неиспользованных, которые он заблаговременно приберет. Вот уже два месяца, как лезвия перестали продавать. В любой момент находился какой-нибудь необходимый товар, который партийные магазины не могли поставить. Иногда это были пуговицы, иногда нитки, иногда шнурки. Вот сейчас настало время бритвенных лезвий. Раздобыть их, если это вообще удавалось, можно было тайком только на «свободном» рынке.

«Я бреюсь одним и тем же лезвием уже шестую неделю», – добавил он для пущей правдоподобности.

Очередь немного продвинулась вперед, и снова остановилась. Уинстон повернулся к Сайму. Они взяли по жирному металлическому подносу из груды в конце прилавка.

«Ты вчера ходил смотреть, как вешают пленных?» – спросил Сайм.

«Я работал, – равнодушно ответил Уинстон, – думаю, скоро это будут показывать в кино, там и посмотрю».

«Ой, ну тоже мне, сравнил. Это ж совсем не то», – сказал Сайм.

Его насмешливый взгляд скользнул по лицу Уинстона. Казалось, что его глаза так и говорили: «Я знаю тебя, я вижу тебя насквозь. Я очень хорошо знаю, почему ты не пошел на казнь этих заключенных». Сайм конечно был ужасным ортодоксом, он говорил с каким-то отталкивающим злорадством о воздушных атаках на вражеские деревни, о пытках и признаниях мыслепреступников, о казнях в подвалах Министерства Любви. Уинстон всегда старался увести разговор с ним в какое-то другое русло, по возможности на тему тонкостей и особенностей новояза. Это была родная стихия Сайма, и тогда он становился авторитетным и интересным собеседником. Уинстон слегка повернул голову, чтобы избежать взгляда больших темных глаз.

«Неплохое выдалось повешение», – задумчиво сказал Сайм. «Я думаю, лучше, когда они не связывают ноги вместе. Мне нравится смотреть, как они брыкаются и пинают воздух. И, самое главное, это когда в конце у них изо рта вываливается язык, такой синюшный, почти фиолетовый. Это меня очень забавляет».

«Следующий, пожалуйста!» – закричала пролка в белом фартуке с черпаком в руках.

Уинстон и Сайм просунули свои подносы в узкое окошко. На каждый быстро поставили обычный обеденный набор – металлическая миска с розовато-серым куском тушеного мяса, кусок хлеба, кубик сыра, кружку кофе «Победа» без молока и одну таблетку сахара.

«Вон там есть место, под телеэкраном», – сказал Сайм. «И давай по дороге возьмем по стаканчику джина».

Джин подавали в фарфоровых кружках без ручек. Они прошли через переполненную столовую и поставили свои подносы на стол с металлической столешницей, на котором кто-то оставил лужу из мясной подливки, гадкая на вид мутная жижа, похожая на рвоту. Уинстон взял свою кружку с джином, на мгновение остановился, чтобы собраться с духом, и разом проглотил все содержимое. Смахнув слезы с глаз, он внезапно обнаружил, что голоден. Он начал уплетать тушеное мясо ложка за ложкой, отмечая про себя, что в этой кашеобразной субстанции периодически попадались вязкие розоватые сгустки, которые, вероятно, были каким-то наполнителем с мясным вкусом. Они молча ели свой обед. За столом слева от Уинстона кто-то что-то быстро и непрерывно говорил, резкое бормотание, похожее на крик утки.

«Как там продвигается работа со Словарем?» – спросил Уинстон, повышая голос, чтобы заглушить шум.

«Медленно, но верно», – ответил Сайм. «Сейчас как раз занимаюсь прилагательными. Это восхитительно».

При упоминании новояза он сразу просиял. Он отодвинул свою миску, взял в одну руку кусок хлеба, а в другую – сыр, и перегнулся через стол, чтобы иметь возможность говорить без крика.

«Одиннадцатое издание окончательное», – сказал он. «Мы придаем языку окончательную форму – форму, которую он будет иметь, когда никто больше не будет говорить ни на каком другом языке. Когда мы закончим, людям, подобным нам с тобой, придется учить язык заново. Ты наверно думаешь, что наша главная задача – придумывать новые слова. А вот и нет! Мы уничтожаем слова – десятки, сотни слов каждый день. Мы сокращаем язык до минимума. В Одиннадцатом издании не будет ни одного слова, которое устареет до 2050 года».

Он с жадностью откусил хлеб и сделал пару глотков, потом продолжил говорить с какой-то педантичной напористостью. Его худое лицо оживилось, глаза утратили насмешливое выражение и стали почти мечтательными.

«Удивительная это вещь – уничтожение слов. Конечно, мы много теряем из-за глаголов и прилагательных, но есть сотни существительных, от которых можно спокойно избавиться. И я говорю не только о синонимах, ведь есть же еще и антонимы. В конце концов, какое оправдание существует для слова, которое просто противоположно другому слову? Слово и так содержит в себе свою противоположность. Возьмем, к примеру, «хороший». Если у вас есть такое слово, как «хороший», зачем тогда такое слово, как «плохой»? «НЕхороший» подойдет гораздо лучше, потому что это действительно полная противоположность, а «плохой» – нет. Или, опять же, если вам нужна более сильная версия слова «хороший», какой смысл иметь целый ряд расплывчатых бесполезных слов, таких как «отличный», «великолепный» и так далее? Все это можно заменить словом «плюсхороший». Слово «дваждыплюсхороший» даст вам еще более сильное значение. Конечно, мы уже используем эти формы, но в окончательной версии новояза других вариантов уже не будет. В конце концов, все понятия хорошего и плохого будут заключены всего в шести словах – но по факту это будет только одно слово. Разве ты не видишь красоту всего этого, Уинстон? Ну, конечно, изначально все это пришло в голову ББ», – добавил он, немного запнувшись.

При упоминании Большого Брата на лице Уинстона промелькнуло весьма вялое воодушевление. Сайм сразу же заметил этот недостаток энтузиазма.

«Уинстон, ты не особо ценишь новояз», – почти с отвращением сказал он. «Даже когда ты пишешь на нем, ты все еще думаешь на староязе. Я читал некоторые из тех статей, которые

ты иногда пишешь в «Таймс». Они достаточно хороши, но это переводы. В глубине души ты предпочел бы использовать старояз со всей его расплывчатостью и бесполезными смысловыми оттенками. Ты не понимаешь красоты уничтожения слов. Ты вообще понимаешь, что новояз – это единственный язык в мире, словарный запас которого с каждым годом становится все меньше?»

Уинстон, конечно же, знал это. Он постарался сделать максимально понимающее выражение лица и улыбнулся, не решаясь заговорить. Сайм откусил еще один кусок хлеба, быстро прожевал его и продолжил:

«Разве ты не понимаешь, что главная цель новояза – это сузить круг мышления? В конце концов, мы сделаем мыслепреступление буквально невозможным, потому что не будет слов, чтобы выразить его. Каждое понятие, которое может когда-либо понадобиться, будет выражено ровно одним словом, его значение будет строго определено, а все его вспомогательные значения будут стерты и забыты. Уже в Одиннадцатом издании мы окажемся недалеко от этого исторического момента. Но этот процесс будет продолжаться еще долго после того, как мы с тобой умрем. С каждым годом слов будет все меньше и меньше, а кругозор уже и уже. Даже сейчас, конечно же, не может быть никаких оправданий для совершения мысленных преступлений. Это просто вопрос самодисциплины и контроля реальности. Но в конце концов и в этом не будет необходимости. Революция завершится, когда язык станет совершенным. Новояз – это англсоц, а англсоц – это новояз», – добавил он с каким-то мистическим удовлетворением. «Тебе когда-нибудь приходило в голову, Уинстон, что самое позднее к 2050 году не останется в живых ни одного человека, который смог бы понять разговор, который мы ведем с тобой сейчас?»

«Кроме...» – с сомнением начал Уинстон и остановился.

Сказать «Кроме пролов» так и крутилось у него языке, но он сдержал себя, не будучи полностью уверенным, что это замечание было уместным. Однако Сайм догадался, что он собирался сказать.

«Пролы – не люди», – небрежно сказал он. «К 2050 году, а вероятно и раньше, все реальные знания о староязе исчезнут. Вся литература прошлого будет уничтожена. Чосер, Шекспир, Мильтон, Байрон, все они будут существовать только в версиях новояза, не просто измененные во что-то другое, а буквально преобразованные в нечто противоречащее тому, чем они были раньше. Изменится даже литература Партии. Изменится даже лозунг. Как сможет существовать лозунг типа «свобода – это рабство», если само понятие свободы будет отменено? Все мышление будет другим. На самом деле мыслей, как мы их понимаем сейчас, не будет. Благонадежность означает отсутствие мыслей, а точнее отсутствие потребности в мыслях. Благонадежность – это бессознательность».

«Однажды, – подумал Уинстон с внезапной уверенностью, – Сайм испарится». Он слишком умен. Он все видит слишком ясно и говорит слишком смело. Партия не любит таких людей. Однажды он исчезнет. Это написано у него на лице.

Уинстон доел хлеб с сыром. Он сел полубоком, чтобы допить свой кофе. За столом слева человек с резким голосом все еще тараторил. Молодая женщина, которая, вероятно, была его секретарем и сидела спиной к Уинстону, слушала его и, казалось, охотно соглашалась со всем, что тот тарыхтел. Время от времени Уинстон улавливал такие реплики как «Я думаю, вы правы, я полностью с вами согласна», произносимые тонким и довольно глупым женским голосом. Но другой голос не умолкал ни на мгновение, даже когда говорила девушка. Уинстон знал этого человека в лицо, хотя о нем самом почти ничего не знал, кроме как, что он занимал важный пост в отделе Художественной литературы. Это был мужчина лет тридцати, с мускулистой шеей и большим подвижным ртом. Его голова была немного запрокинута назад, и из-за такого угла его очки отражали свет ламп, так что Уинстон видел только два пустых зеркальных диска вместо глаз. Из потока звуков, вырывающихся из его рта, было практически

невозможно вычленишь ни одного слова. Один раз Уинстону все же удалось уловить фразу – «полное и окончательное устранение гольдштейнизма» – которая звучала, как одно длинное слово. В остальном это был просто шум, криканье. И хотя разобрать, что говорил этот человек было почти невозможно, общий характер и направленность разговора угадывались. Вероятно, он осуждал Гольдштейна и требовал более строгих мер против мыслепреступников и саботажников, вероятно, он возмущался зверствами евразийской армии, а также восхвалял Большого Брата или героев на Малабарском фронте – но это не имело никакого значения. Что бы он там не говорил, можно было быть уверенным, что каждое его слово должно было показать его благонадежность, было чистой пропагандой, чистым Ангсоцом. Наблюдая за безглазым лицом с быстро движущейся челюстью, Уинстон словил себя на мысли, что это не настоящий человек, а какой-то манекен. Говорил не мозг человека, а его гортань. Какофония, которая от него исходила, состояла из слов, но это не была речь в истинном смысле слова: это был звук, издаваемый бессознательно, как криканье утки.

Сайм на мгновение замолчал, рисуя что-то ложкой в жиже из-под тушеного мяса. Голос за соседним столом опять что-то крикнул, легко слышимый, несмотря на окружающий шум.

«В новоязе есть слово, – сказал Сайм, – я не знаю, знаешь ли ты его: «крякоречь», это когда кто-то крикает, как утка. Это одно из тех интересных слов, которые имеют два противоположных значения. В применении к противнику это звучит как оскорбление, в применении к тому, с кем вы согласны, это похвала».

«Несомненно, Сайм испарится», – снова подумал Уинстон. Он подумал об этом с некоторой грустью, хотя хорошо знал, что Сайм его презирал и не долюбивал, и был вполне способен обвинить его в мыслепреступлении, если бы он увидел для этого хоть малейшие основания. С Саймом было что-то не так. Ему чего-то не хватало: какой-то осмотрительности, отстраненности, возможно, какой-то спасительной глупости. Нельзя сказать, что он был «неблагонадежным». Он верил в принципы Ангсоца, почитал Большого Брата, радовался победам, ненавидел отщепенцев не просто искренне, а даже с каким-то неумолимым рвением, не свойственным рядовому члену Партии. И все же было в нем что-то странное, подозрительное. Он говорил вещи, о которых лучше было бы молчать, он читал слишком много книг, он часто бывал в кафе «Каштан», которое было любимым местом художников и музыкантов. Не было закона, даже неписаного, запрещающего посещать это кафе, но быть замеченным в этом месте было дурным предзнаменованием. Здесь собирались старые, дискредитированные лидеры Партии, прежде чем они окончательно испарялись. Говорили, что там видели самого Гольдштейна много лет или десятилетий назад. Судьбу Сайма предвидеть было нетрудно. И все же фактом оставался фактом – если бы Сайм хотя бы на секунду уловил природу тайных мыслей Уинстона, он немедленно сдал бы его Полиции Мыслей. Как и любой другой, конечно, если на то пошло, но Сайм сделал бы это с большим рвением, чем остальные. Но рвения было недостаточно. Благонадежность – это бессознательность.

Сайм поднял глаза. «А вот и Парсонс», – сказал он.

Что-то в тоне его голоса подсказывало, что ему хотелось добавить: «этот чертов дурак». Парсонс, сосед Уинстона по этажу в доме «Победа», пробирался к ним из другого конца столовой – тучный мужчина среднего роста со светлыми волосами и лягушачьим лицом. К тридцати пяти годам у него уже было брюхо и жировые складки на затылке, но двигался он бодро и как-то по-мальчишески юрко. Он вообще был похож на подростка-переростка, и хотя он был одет в обычный партийный комбинезон, глядя на него почему-то непроизвольно представляешь его в синих шортах, серой рубашке и красном шейном платке – униформе Отряда юных разведчиков. Воображение так и рисовало его с ямочками на коленках и закатанными рукавами, из которых торчат пухлых рученки. Парсонс действительно неизменно возвращался к шортам, когда массовый турпоход или любая другая физическая активность предоставляли ему повод для этого. Он поприветствовал их обоих радостным «Физкульт-привет!», сел за стол,

и их накрыла волна резкого запаха пота. Капли влаги выступали на его румянном лице. Его способность к потоотделению была просто феноменальной. В Общественном центре всегда можно было определить, когда он играл в настольный теннис по влажной рукоятке ракетки. Сайм достал полоску бумаги с длинным столбиком слов, и принялся изучать, крутя чернильный карандаш между пальцами.

«Ой, только гляньте, кто это у нас работает в обеденный перерыв», – сказал Парсонс, подталкивая Уинстона в бок. «Какая увлеченность работой, а? Что у тебя там, старина? Полагаю, что-то слишком умное для меня. Смит, старина, а я за тобой гоняюсь. Ты забыл сдать деньги».

«На что именно», – спросил Уинстон, автоматически нащупывая деньги в кармане. Около четверти зарплаты приходилось отдавать на добровольные взносы, которых было настолько много, что их трудно было отслеживать.

«На Неделю Ненависти. Мы всем домом сдаем. Я собираю деньги со всех домов по нашей улице. Мы прилагаем все усилия, ведь мы не хотим опростоволоситься на празднике. Говорю тебе, я буду не причем, если на нашем старом доме «Победа» не будут висеть самые большие флаги со всей улицы. Ты обещал сдать мне два доллара.»

Уинстон нашел и отдал две скомканные грязные однодолларовые купюры, которые Парсонс вложил в небольшую записную книжку, и сделал запись аккуратными печатными буквами.

«Кстати, старина, – сказал он, – слышал, мой оболтус вчера подстрелил тебя из рогатки. Я задал ему хорошую взбучку за это. Я сказал ему, что заберу у него рогатку, если он сделает это снова».

«Я думаю, он был немного расстроен, что не пойдет на казнь», – сказал Уинстон.

«Ну, да, настрой у них правильный, тут спору нет! Они с сестрой, конечно, те еще оторвы, но это все из-за увлеченности и преданности общему делу! Все, о чем они думают – это шпионы, предатели, ну, и, конечно же, война. Знаешь, что моя маленькая дочурка сделала в прошлую субботу, когда ее отряд отправился в поход вдоль Беркхамстеда? Она подбила еще двух девочек улизнуть с ней из похода и весь день они следили за каким-то подозрительным типом. Они шли по его пятам два часа, прямо через лес, а затем, когда добрались до Амершема, сдали его патрульным».

«Зачем они это сделали?» – спросил Уинстон, несколько опешивший. Парсонс торжествующе продолжил:

«Моя дочка догадалась, что он вражеский агент, который, например, мог десантироваться в наших краях. Но вот в чем дело, старина. Как ты думаешь, что в первую очередь привлекло ее внимание? Она заметила, что на нем были забавные туфли, сказала, что никогда раньше не видела, чтобы кто-то носил такую обувь. Так что, скорее всего, он был иностранцем. Довольно умно для семилетней девчонки, а?»

«И что случилось с этим человеком?» – спросил Уинстон.

«Этого я, конечно, не знаю. Но я бы не удивился, если...» – Парсонс сделал движение, как будто прицеливается из автомата и щелкнул языком, изображая выстрел.

«Хорошо», – отстраненно буркнул Сайм, не отрываясь от полоски бумаги.

«Конечно, мы не можем позволить себе расслабиться, нужно всегда быть начеку», – покорно согласился Уинстон.

«Я об этом и говорю, идет война», – сказал Парсонс.

Словно в подтверждение этого, прямо над их головами с телеэкрана раздался звук трубы. Однако на этот раз это было не провозглашение очередной военной победы, а всего лишь заявление Министерства Изобилия.

«Товарищи!», – воскликнул энергичный молодой голос. «Внимание, товарищи! У нас для вас отличные новости. Победа на производственном фронте! Итоговые отчеты по выпуску всех видов потребительских товаров показывают, что уровень жизни граждан повысился не

менее чем на двадцать процентов за последний год. Этим утром по всей Океании прокатились массовые спонтанные демонстрации, рабочие выходили с фабрик и офисов, и радостно маршировали по улицам с транспарантами, выражая свою благодарность Большому Брату за новую счастливую жизнь, которую его мудрое руководство даровало нам. Сейчас я зачитаю вам некоторые показатели. Продукты питания...»

Фраза «наша новая счастливая жизнь» повторялась несколько раз. Последнее время это была прямо любимая фраза Министерства изобилия. Парсонс, внимание которого явно было сосредоточено больше на звуке трубы, сидел и слушал сообщение с торжественным, но абсолютно скучным выражением лица. Он явно понятия не имел, что означают произносимые с телеэкрана цифры, но интуитивно догадывался, что они должны вызывать в нем радость и ликование. Он вытащил из кармана огромную грязную трубку, уже наполовину заполненную обугленным вонючим табаком. При норме табака 100 граммов в неделю редко удавалось набить трубку доверху. Уинстон закурил сигарету «Победа», которую осторожно держал строго горизонтально. Новый паек выдадут лишь завтра, а у него осталось всего четыре сигареты. На мгновение он заткнул уши, чтобы не слышать гул столовой, и стал прислушиваться к вещам, доносящимся из телеэкрана. Оказалось, что даже были демонстрации, чтобы поблагодарить Большого Брата за повышение нормы шоколада до двадцати граммов в неделю. А ведь только вчера, подумал он, было объявлено, что рацион должен быть уменьшен до двадцати граммов в неделю. Возможно ли, чтобы люди просто проглотили все это и забыли всего через двадцать четыре часа? Да, оказывается, возможно. Парсонс уж точно проглотил это легко, словно тупое животное. Безглазое кричающее существо за соседним столом тоже глотало информацию фанатично, страстно, с яростным желанием выследить, осудить и испарить любого, кто предположит, что на прошлой неделе рацион составлял тридцать граммов. Сайм тоже это проглотил, правда, более сложным способом, включающим двоемыслие. Неужели Уинстон был здесь единственным, кто помнил, как все было на самом деле?

С телеэкрана продолжала сыпаться просто-таки сказочная статистика. По сравнению с прошлым годом было больше еды, больше одежды, больше домов, больше мебели, больше кастрюль, больше топлива, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше младенцев – больше всего, кроме болезней, преступлений и безумия. Год за годом, минута за минутой, все и всё стремительно взлетали вверх. Как и Сайм ранее, Уинстон взял ложку и стал возиться с бледной подливкой, растекавшейся по столу, выводя в ней какие-то непонятные узоры. Он возмущенно размышлял о физической структуре жизни. Всегда ли так было? Всегда ли еда была такой на вкус? Он окинул взглядом столовую. Переполненная комната с низким потолком и грязными стенами, обшарпанные металлические столы и стулья, поставленные так близко друг к другу, что вы сидите, соприкасаясь локтями с соседом, погнутые ложки, памятные подносы, ободранные эмалированные железные кружки, все поверхности жирные и липкие, в каждой трещине грязь, смешанный кислотный запах низкопробного джина, плохого кофе, тушеного мяса и нестиранной одежды. Все внутри и снаружи вас словно протестовало против существующего порядка вещей, вас не покидало ощущение, что вас лишили чего-то, на что вы имеете законное право. Да, Уинстон не знал другой жизни. Сколько он себя помнил, еды всегда было мало, у человека никогда не было носков или нижнего белья, которые не были бы дырявыми от старости, мебель всегда была потрепанной и шаткой, комнаты недостаточно отапливались, поезда были переполнены, дома давали трещины и разрушались, хлеб был черствым, кофе гадким на вкус, сигарет мало, а чай вообще был большой редкостью. Не хватало всего, и только дешевый синтетический джин всегда был в изобилии. И по мере того, как вы старели, ситуация, казалось, лишь ухудшалась. Если чем дальше, тем больше вас тошнит от дискомфорта, грязи и бедности, от бесконечных холодных зим и липкости старых носков, от вечно неработающих лифтов и ледяной воды из крана, от жесткого царапающего кожу мыла, от разваливающихся на куски сигарет и еды со странным неприятным привкусом – разве это не

признаки того, что все это далеко не естественный порядок вещей? Наверняка, люди считают это невыносимым, потому что у них все же остались какие-то крохи воспоминаний (возможно, на подсознательном уровне), что когда-то все было совсем иначе.

Он снова оглядел столовую. Почти все выглядели уродливо, хотя, пожалуй, они все равно выглядели бы так же, даже если бы не были одеты все в одинаковые форменные синие комбинезоны. В дальнем конце комнаты, сидя за столом в одиночестве, щуплый, удивительно похожий на жука человечек пил кофе, обхватив своими ручонками облупленную белую кружку. Его маленькие глазки бегали из стороны в сторону, бросая косые подозрительные взгляды на окружающих. Как легко, подумал Уинстон (если, конечно, не оглядываться вокруг и не присматриваться к окружающим вас людям) поверить в существование, и даже преобладание среди населения того физически идеального типа человека, созданного Партией: высокие мускулистые юноши и девушки с пышной грудью, светловолосые, полные жизни, загорелые, беззаботные... На самом деле, насколько он мог судить, большинство людей на Взлетной полосе № 1 были невысокими, темноволосыми и некрасивыми. Любопытно, что именно люди с такой жукообразной внешностью преобладали в министерствах: маленькие коренастые человечки на коротких ножках, начинающие полнеть и обрастать жиром еще с подросткового возраста, но при этом суетливые и на удивление юркие, с жирными непроницаемыми лицами и маленькими свинячьими глазами. Этот тип, казалось, лучше всего процветал под властью Партии.

Объявление Министерства изобилия закончилось еще одним звуком трубы и сменилось резкой не мелодичной музыкой. Парсонс, доведенный до какого-то дебильного энтузиазма потоком цифр, вынул трубку изо рта.

«Министерство изобилия в этом году определенно проделало хорошую работу», – сказал он, понимающе покачав головой. «Кстати, старина Смит, я полагаю, у тебя нет бритвенных лезвий, которые ты мог бы дать мне?»

«Ни одного», – сказал Уинстон. «Я сам пользуюсь одним и тем же лезвием вот уже шестую неделю».

«А, ну ладно... просто подумал, спрошу-ка у тебя на всякий пожарный, старина».

«Извини», – сказал Уинстон.

Крякающий голос за соседним столом, временно затихший во время объявления Министерства, снова начал вещать, даже еще громче, чем прежде. Уинстон внезапно обнаружил, что по какой-то причине думает о миссис Парсонс с ее тонкими волосами и пылью в морщинах. Через года два ее дети донесут на нее в Полицию Мыслей. Миссис Парсонс испарится. Сайм испарится. Уинстон испарится. ОБрайен испарится. Парсонс, с другой стороны, никогда не испарится. Безглазое существо с крякающим голосом тоже никогда не испарится. Маленькие жукообразные человечки, которые так проворно бегают по лабиринту коридоров министерств, тоже никогда не испарятся. И девушка с темными волосами из отдела Художественной литературы – она тоже никогда не испарится. Ему казалось, что он инстинктивно знал, кто выживет, а кто погибнет, хотя что именно является гарантией выживания, сказать было сложно.

В этот момент что-то резко выдернуло его из раздумий. Девушка за соседним столиком частично обернулась и смотрела на него. Это была девушка с темными волосами. Она искоса посмотрела на него, но скорее с любопытством. Как только их взгляды встретились, она снова отвернулась.

По позвоночнику Уинстона пробежал неприятный холодок. Его охватил ужас, который почти сразу исчез, но оставил после себя какое-то ноющее беспокойство. Почему она наблюдала за ним? Почему преследовала на каждом шагу? К сожалению, он не мог вспомнить, была ли она уже за столом, когда он пришел, или подседа после. Но вчера, во всяком случае, во время Двухминутки ненависти, она села прямо за ним, хотя в этом не было никакой необходимости, свободных мест в зале было предостаточно. Вполне вероятно, что она хотела послушать и убедиться, что он кричит достаточно громко.

Прежняя мысль вернулась к нему: вероятно, она все же не была членом Полиции Мыслей, но именно такой вот разведчик-любитель и представлял наибольшую опасность. Уинстон не знал, как долго она смотрела на него, но, возможно, целых пять минут, и возможно, он не полностью контролировал выражение своего лица в этот момент. Было чрезвычайно опасно позволять своим мыслям блуждать, находясь в любом общественном месте или в пределах досягаемости телеэкранов. Любая мелочь может вас выдать – нервный тик, бессознательная обеспокоенность, привычка бормотать себе под нос – все, что несет в себе хоть малейший намек на отход от нормы, на то, что вам есть что скрывать. В любом случае, иметь неподходящее выражение лица (например, недоверчиво смотреть при сообщении о победе) само по себе было нарушением, которое влекло за собой наказание. На новоязе было даже слово для этого: это называлось «лицепреступление».

Девушка снова отвернулась от него. Возможно, она на самом деле не преследовала его, возможно, это совпадение, что она сидела так близко к нему два дня подряд. Сигарета у него погасла, и он осторожно положил ее на край стола. Он сможет закурить ее после работы, если из нее не высыпется табак. Вполне вероятно, что человек за соседним столиком был шпионом Полиции Мыслей, и вполне вероятно, что следующие три дня ему придется провести в подвалах Министерства Любви, но остаток сигареты не должен пропасть зря. Сайм сложил полоску бумаги и спрятал в карман. Парсонс снова заговорил.

«А я рассказывал тебе, старина, – сказал он, посмеиваясь с трубкой во рту, – как мои сорванцы подожгли юбку старой торговки на рынке, потому что увидели, как она заворачивала сосиски в плакат с изображением ББ? Они подкрались к ней тихонько сзади и подожгли ей подол целым коробком спичек. Обгорела она неслабо. Маленькие негодяи, а? Но зато сколько энтузиазма! В Отряде юных разведчиков сейчас прекрасно обучают, даже лучше, чем в моем детстве. Угадай, что им недавно выдали? Слуховые трубки, чтобы подслушивать через замочные скважины! Когда моя дочурка принесла такую домой, она сразу же испробовала ее на двери нашей гостиной и посчитала, что слышит вдвое лучше, чем просто ухом. Конечно, это всего лишь игрушка, понятное дело. Но она наставляет их на правильный путь, вкладывает им в головы правильные идеи!»

В этот момент телеэкран издал пронзительный свист. Это был сигнал вернуться к работе. Все трое вскочили на ноги, и присоединиться к толкотне у лифтов, а оставшийся табак выпал из сигареты Уинстона.

Глава 6

Уинстон писал в своем дневнике:

«Это случилось три года назад темным вечером в узком переулке возле одной из больших железнодорожных станций. Она стояла возле арки дома под тусклым уличным фонарем. У нее было молодое лицо, но она была очень ярко накрашена. Впрочем, меня это привлекало, белизна ее кожи, словно фарфоровая маска, и ярко-красные губы. Партийные женщины никогда не красятся. На улице никого не было, не было там и телеэкранов. Она сказала: «Два доллара». Я...»

Он остановился, продолжать было слишком трудно. Он закрыл глаза и надавил на веки пальцами, пытаясь буквально выдавить из них видение, которое никак не выходило у него из головы. Он боролся с искушением выругаться во весь голос. Ему хотелось удариться головой о стену, пнуть ногой по столу и швырнуть чернильницу в окно – совершить какой-нибудь жестокий, шумный или болезненный поступок, который мог бы стереть из его памяти мучившие его воспоминания.

«Ваш злейший враг, – подумал он, – это ваша собственная нервная система. В любой момент внутреннее напряжение могло превратиться в какой-нибудь видимый симптом. Он подумал о прохожем, которого он встретил на улице несколько недель назад, вполне обыкновенный мужчина, член Партии, от тридцати пяти до сорока лет, высокий, худощавый, с портфелем в руках. Они были в нескольких метрах друг от друга, когда левая сторона лица мужчины внезапно дернулась. Это случилось снова, когда они проходили мимо друг друга. Это была всего лишь мимолетная судорога, быстрая, как щелчок затвора камеры, но явно привычная. Он вспомнил, как думал в тот момент: с этим беднягой покончено. И самое страшное, что этот человек, возможно, даже не замечал, что с ним происходило. Но самая большая опасность – это разговаривать во сне. Насколько он мог судить, от этого не было никакого способа защититься.

Он перевел дух и продолжил писать:

«Я последовал за ней через арку во двор, а затем в полуподвальную кухоньку. У стены стояла кровать, а на столе приглушенно горела лампа. Она...»

Он стиснул зубы. Хотелось хорошенько плюнуть. Одновременно с женщиной в полуподвальной кухне он думал о Кэтрин, своей жене. Уинстон был женат, ну, по крайней мере, когда-то был. Хотя, вероятно, можно было сказать, что он все еще женат, поскольку он знал, что его жена не умерла. Ему казалось, что он снова вдыхает теплый спертый воздух полуподвального помещения, где пахло клопами, грязной одеждой и дешевыми духами, но, тем не менее, этот запах манил и возбуждал его, потому что партийные женщины никогда не пользовались духами, возможно, они даже не знали об их существовании. Душились только пролки. В его сознании запах духов был неразрывно связан с блудом.

Когда он пошел с этой женщиной, это было впервые за последние два года или около того. Использование услуг проституток, конечно, было запрещено, но это было одно из тех правил, которые иногда можно было позволить себе нарушить. Это было опасно, но это не было вопросом жизни и смерти. Если вас поймают с проституткой, это может означать пять лет в исправительно-трудовом лагере, не больше, если, конечно, вы не совершали никакого другого преступления. Все было довольно просто, главное, не быть пойманным на горячем. Бедные кварталы кишели женщинами, готовыми продать себя. Некоторые даже готовы были отдаться за бутылку джина, который пролам не полагался. Негласно Партия даже в каком-то смысле поощряла проституции как способ дать волю своим природным инстинктам, которые нельзя было полностью подавить. Простое распутство не имело большого значения, пока оно было незаметным и безрадостным, и совершалось только с женщинами бедного и презираемого

класса. Непростительным преступлением был разврат между членами Партии. Однако, хоть это и было одно из преступлений, в которых неизменно признавались обвиняемые во время больших чисток, было трудно представить, чтобы что-то подобное действительно происходило.

Целью Партии было не просто помешать мужчинам и женщинам построить отношения, которые она не могла бы контролировать. Ее истинная, негласная цель заключалась в том, чтобы лишить половой акт какого-либо удовольствия. Не столько любовь была врагом, сколько эротизмом, как в браке, так и вне него. Все браки между членами Партии должны были быть одобрены комитетом, созданным именно для этой цели. И, – хотя эта причина никогда официально не оглашалась – в разрешении всегда отказывали, если соответствующая пара производила впечатление такой, где между партнерами существует физическое влечение. Единственной признанной целью брака было зачать детей для их будущей службы на благо Партии и государства. Половой акт должен был рассматриваться как слегка отвратительная незначительная процедура, вроде клизмы. Это опять-таки никогда не говорилось прямо, а косвенным путем вкладывалось в сознание каждого члена Партии с самого детства. Для этого и существовали такие организации, как Молодежная антисексуальная лига, которые выступали за полное целомудрие для обоих полов. Все дети должны были быть рождены путем искусственного оплодотворения («ископлод» на новоязе) и воспитываться в государственных учреждениях. Уинстон понимал, что все это было не всерьез, но каким-то образом это прекрасно соответствовало общей партийной идеологии. Партия пыталась убить сексуальный инстинкт или, если его нельзя было убить, извратить, сделать чем-то грязным и постыдным. Он не знал, почему это было так, но почему-то это казалось ему логичным и естественным. Что касается женщин, то усилия Партии в этом плане оказались весьма успешными.

Он снова подумал о Кэтрин. Должно быть, девять, десять, почти одиннадцать лет прошло с тех пор, как они расстались. Он на удивление редко о ней думал. Бывало, он вообще забывал, что когда-либо был женат. Они были вместе около пятнадцати месяцев. Вообще Партия не разрешала развод, но разрешала жить отдельно в случаях, когда у пары не было детей.

Кэтрин была высокой светловолосой девушкой, стройной и грациозной. У нее были правильные тонкие черты лица, и внешность ее можно было бы назвать благородной, пока не становилось понятно, что за этим красивым лицом прячется лишь полнейшая пустота. В самом начале их семейной жизни он понял – хотя, возможно, только потому, что узнал ее ближе, чем остальные люди – что у нее, пожалуй, самый глупый, извращенный и пустой ум, с которым он когда-либо сталкивался. Все мысли в ее голове сводились к партийным лозунгам, и она проглатывала и верила в любой бред, если он исходил от Партии. «Заевшая пластинка» – вот как он прозвал ее в собственном сознании. И даже с этим он мог бы мириться, если бы не одно – секс.

Как только он прикасался к ней, она, казалось, вздрагивала и застывала. Обнимать ее было все равно, что обнимать бревно. И что было еще более странно, даже когда она прижимала его к себе, ему казалось, что она одновременно отталкивает его изо всех сил. Все ее тело будто деревенело. Она лежала с закрытыми глазами, она не сопротивлялась, но и помогала. Было такое впечатление, что она просто подчиняется партийному правилу или указанию. Это было крайне неловко, а через некоторое время стало просто невыносимым. Но даже тогда он готов был жить с ней, если бы они просто договорились хранить целомудрие, и на этом все. Но, как ни странно, от этой идеи отказалась сама Кэтрин. Она сказала, что они должны произвести на свет ребенка. Так что этот спектакль абсурда продолжался регулярно, раз в неделю, когда это было возможно. Она даже напоминала ему об этом по утрам, как о чем-то, что нужно было сделать этим вечером и о чем нельзя забывать. У нее было два названия для этого. Одно «зачать ребенка», а второе «наш долг перед Партией» (да, она действительно использовала эту фразу). Вскоре у него появилось прямо таки чувство страха перед предстоящим занятием. Но, к счастью, ребенка зачать никак не удавалось, и в конце концов она согласилась бросить попытки, и вскоре после этого они расстались.

Уинстон беззвучно вздохнул. Он снова взял ручку и написал:

«Она бросилась на кровать и тут же, без всякой предварительной подготовки, самым грубым и вульгарным образом, вы можете себе представить, задрала юбку. Я...»

Он увидел себя стоящим там в тусклом свете лампы, с запахом клопов и дешевых духов в ноздрях, он чувствовал бессилие и негодование, которые даже в тот момент смешивались с мыслью о белом теле Кэтрин, застывшем навеки под гипнотической силой Партии. Неужели так будет всегда? Почему у него не может быть собственной женщины вместо этих мерзких сношений раз в несколько лет? Но настоящие романтические отношения были событием почти невыносимым. Все партийные женщины были одинаковые. Целомудрие укоренилось в них так же глубоко, как и партийная преданность. Благодаря тщательной ранней подготовке, обливаниям ледяной водой, ахинее, которую вколачивали в их головы в школе и в Отряде юных разведчиков, а потом и в Молодежной лиге, благодаря лекциям, парадам, песням, лозунгам и маршам, естественные чувства и эмоции были вытеснены из них. Его разум подсказывал ему, что должны быть исключения, но его сердце уже не верило этому. Все они были неприступны, как и требовала Партия. Но больше, чем быть любимым, ему хотелось сломать эту стену добродетели, даже если это было бы всего один раз за всю его жизнь. Полноценный половой акт считался бунтом. Влечение считалось преступлением. Даже возбудить Кэтрин, если бы он смог этого добиться, считалось бы соvrращением, хотя она была его женой.

Но остальную часть истории нужно было записать. Поэтому он продолжил:

«Я включил лампу. Когда я увидел ее при свете...»

После темноты улицы даже слабый свет парафиновой лампы казался слишком ярким. Наконец-то перед ним была настоящая женщина. Он сделал шаг к ней и остановился, его переполняли похоть и ужас. Он прекрасно осознавал риск, на который пошел, приехав сюда. Вполне возможно, что патрули схватят его на выходе. Если уж на то пошло, они могли уже поджидать за дверью. Если он уйдет, даже не сделав того, ради чего пришел сюда...

Это нужно было все записать, ему нужно было во всем признаться. При свете лампы он неожиданно для себя понял, что женщина старая. Макияж был нанесен на ее лицо так густо, что казалось, вся эта фарфоровая маска вот-вот треснет. Ее волосы были седыми, но поистине ужасной деталью было то, что когда ее рот приоткрылся, там не было ничего, кроме зияющей черной бездны. У нее совсем не было зубов.

Он нервно написал дрожащим почерком:

«Когда я увидел ее при свете, она была совсем старой женщиной, лет пятидесяти по крайней мере. Но это меня не остановило, и я сделал то, зачем туда пришел».

Он снова нажал пальцами на веки. Наконец-то он это записал, но это не подействовало, терапия не сработала. Желание выкрикивать грязные ругательства во весь голос сейчас было как никогда сильным.

Глава 7

Уинстон писал, что если и есть надежда, то только на пролов.

«Только на них вся надежда, потому что только среди них, в этой огромной игнорируемой массе, которая, к слову, составляла 85 % населения Океании, может когда-нибудь появиться сила, способная уничтожить Партию. Партию нельзя было свергнуть изнутри. Ее враги, если таковые были, не имели возможности сгруппироваться или даже идентифицировать друг друга. Даже если легендарное Братство и существовало, то было очень маловероятно, что его члены когда-либо собирались в количестве большем, чем двое или трое. Для них взгляд глаза в глаза, легкое изменение тона голоса, опрокинутое шепотом слово уже было проявлением бунта. Но пролы, если бы только они могли каким-то образом осознать свою силу, не нуждались бы в заговоре. Им нужно было только встать и встряхнуться, как лошадь, стряхивающая с себя мух. Если бы они захотели, они могли бы уже завтра утром разнести Партию на кусочки. Конечно, рано или поздно им должно прийти это в голову! И все же...!»

Он вспомнил, как однажды он шел по многолюдной улице, и ужасный крик сотен женских голосов донесся из переулка впереди. Это был грозный вопль гнева и отчаяния, гортанное, громкое «О-о-о-о!», которое гудело, как сигнал приближающегося поезда. Его сердце чуть не выпрыгнуло из груди. «Началось!» – подумал он. «Бунт! Пролы наконец-то вырвались на свободу!» Когда он добрался до места, то увидел толпу из двухсот или трехсот женщин, толкающихся возле прилавков на рынке, с такими трагическими лицами, как будто они были обреченными пассажирами тонущего корабля. Но в этот момент всеобщее отчаяние переросло в множество индивидуальных ссор. Оказалось, что в одном из прилавков продавались жестяные кастрюли. Они были жалкие и хлипкие, но достать хоть какие-то кастрюли всегда было трудно. Теперь же их запас вообще неожиданно закончился. Счастливые обладательницы последних экземпляров, которых сейчас во всю толкали и пинали, пытались убежать со своими кастрюлями, в то время как десятки других женщин шумели вокруг прилавка, обвиняя продавца в предвзятом отношении и в том, что где-то в запасе у него остались еще кастрюли. Раздался новый взрыв криков. Две полные женщины, одна с распущенными волосами, схватились за одну кастрюлю и начали тянуть ее из стороны в сторону. Через некоторое время ручки кастрюли просто оторвались. Уинстон с отвращением смотрел на них. И все же, всего на мгновение, какая-то почти утрашающая сила была в этом крике пары сотен человек! Почему они никогда не кричали так же о чем-нибудь важном?

Он написал:

«Пока они не станут сознательными, они никогда не восстанут, и пока они не восстанут, они не смогут стать сознательными».

Это, подумал он, могло бы стать цитатой, достойной одного из партийных учебников. Партия, конечно, утверждала, что освободила пролов от неволи. До революции капиталисты ужасно притесняли их, морили голодом и пороли, женщин заставляли работать на угольных шахтах (на самом деле женщины все еще работали на угольных шахтах), детей продавали на фабрики в возрасте шести лет. Но в то же время, придерживаясь принципов двоемыслия, Партия утверждала, что пролы по природе низшие существа и их нужно держать в подчинении, как животных, путем применения нескольких простых правил. В действительности о пролах было известно очень мало. Да и никому это не было интересно. Пока они продолжали работать и размножаться, другие их занятия не имели значения. Предоставленные самим себе, как рогатый скот, брошенный на равнинах Аргентины, они вернулись к образу жизни, который казался им естественным, своего рода запрограммированным на генном уровне. Они рождались и росли в сточной канаве, шли на работу в двенадцать лет, проходили через короткий период расцвета красоты и сексуального желания, выходили замуж в двадцать, начинали увядать в тридцать,

и умирали по большей части в шестьдесят. Тяжелый физический труд, забота о доме и детях, мелкие ссоры с соседями, фильмы, футбол, пиво и, прежде всего, азартные игры были границами их сознания. Удержать их под контролем было несложно. Несколько агентов Полиции Мыслей постоянно внедрялись в их ряды, распространяя ложные слухи, выявляя и устраняя тех немногих, которые были признаны потенциально опасными. Но никаких попыток внушать им идеологию Партии не предпринималось. Развивать политические интересы у пролов было нежелательно. Все, что от них требовалось, это примитивный патриотизм, к которому можно было прибегать всякий раз, когда необходимо было заставить их согласиться на более продолжительный рабочий день или укороченный паек. И даже когда они становились недовольными, что все же происходило время от времени, их недовольство ни к чему не приводило, потому что, не имея общих глобальных идей, они могли сосредоточиться только на мелких конкретных жалобах. Больше зло неизменно ускользало от их внимания. Подавляющее большинство пролов не имело в домах даже телеэкранов. Даже гражданская полиция их особо не трогала. В Лондоне было огромное количество преступников: воров, бандитов, проституток, торговцев наркотиками и мошенников всех мастей, но поскольку все они тоже были пролами, это не имело значения. Во всех вопросах нравственности им разрешалось следовать кодексу своих предков. Сексуальное пуританство Партии им не навязывалось. Беспорядочные половые связи оставались безнаказанными, развод разрешался. В этом отношении даже религиозное поклонение было бы разрешено, если бы пролы проявляли хоть какие-то признаки желания или необходимости в нем. Они не вызывали подозрений. Как гласил партийный лозунг: «Пролы и животные – существа свободные от обязательств».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.